

ЕВРЕЙСКИЙ ДАМЕРТОН

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ТУМАН

Микки ВУЛЬФ

Задача поставлена следующим образом: рассказать (вспомнить) о тумане без присущих этому явлению туманностей. Проще всего, конечно, взять энциклопедию, которая, однако, с первых же слов начинает финтить: "ТУМАН, в общем смысле - аэрозоль с капельно-жидкостной дисперсной фазой". Я считаю, что за такие определения надо обрывать руки.

Другой тотальный путеводитель - Священное писание - о тумане, насколько я помню, не упоминает вообще, хотя многократно оперирует близкозвучным понятием "тьма" ("тьма над бездною", "народ, ходящий во тьме", "может быть, тьма сокроет меня" и проч.). В Талмуде туман представлен как мера объема - около 1/6 литра. Зато сразу три тумана зафиксированы у незабвенного Есенина: "Я спросил сегодня у менялы / Что дает за три тумана по рублю..." - и, если вы не против, в менее популярной сегодня украинской народной песне: "Туман ярмом, туман долиною..." с ударением (в долине) на второе "о".

Теперь, оградив себя от страхов этой великолепной поэзией, мы можем почти без трепета вспомнить и гениальный туман в "Амаркорде", когда перед глазами изумленного и испуганного мальчишки на сказочной поляне всплывает из пенного молока луннорогий белый буйвол, и снежной белизны лошадиную морду, представшую у Юрия Норштейна взору заплывавшего ежика, и даже жутковатый лемовский Солярис: "Над океаном поднимается красный туман... Лавина тумана до горизонта... Когда я поднялся до трехсот метров, туман подо мной был испещрен дырками, совсем как сыр..."

Первый туман, который помнится мне самому, это Одесса и уходящий в белую неразличимость трамвайный вагон, разматывающий за собой зыблущиеся



Фотоиллюстрация: ingimage.com/ASAP Creative

ленты рельсов, тускло отражающих нависшее над ними оперение голых яворов, и как будто клубящийся запах мазута над шпалами: мне было лет пять, и отец каждое утро возил меня в какой-то старорежимный подвальчик пить, нет, есть и чуть ли не отламывать ложкой удивительно нежную и густую, цвета первой пороши сметану.

Над морем, куда мы приходили потом, тоже стояли туманы. Эта была, видимо, ранняя весна. Раздышавшийся у кустов снег покрывался серыми пятнами, и белые занавеси в некотором отдалении от пляжа то сходились, то расходились беззвучными складками, не открывая, однако, никаких особенных тайн: все те же мышастые лоснящиеся низкие волны, как могучие мышцы; различается также бельмастый горный туман, имеющий обыкновение не только застить глаза, но и прилипнуть к подошвам и мгновенно отяжелевшим штанинам: бредешь в сырости, набухший волглый брезент противно хлещет по икрам, царапает щиколотки, и кажется, что уже целую вечность тащишь за собой мутные белые озерца, похожие на стаканы бария

перед рентгеном желудка, в которые озерца и ступаешь по счету раз-два с характерным хлюпом - надо было вчера меньше пить, но уж больно была хороша закуска.

Туман речной и озерный падает перед зарей, ошибкой залегая спросонья в росистых лощинах, и держится на красно-белых рыбачьих поплавах, на винных, с бурдовыми мазками пробках, заменяющих в селах фабричные полавки, на караковых набалдашниках камыша и сочно-зеленых пиках осоки. Бесполезно дуть или разгонять мглу руками - одолеть ее может лишь солнце, подбирающееся, как правило, с востока и неслышно ударяющее в пурпурный гонг. Туман, обладающий исключительно чутким слухом, мгновенно съеживается и, разодранный на кровавые лохмотья, ныряет в омуты или пускается по течению наутек.

Туман в хвойном бору обладает свойством, плотно загрузив белыми сетку координат, ложиться пятнами на бурые стволы сосен и отлущившиеся огненные задиры коры, одевать варежками редкой вязки каждую отдельно взятую пару иголок, предпочитая

рыжие, заржавевшие, но не обделяя и зеленые, и забиваться, как бурундук, под замшелые, черт знает какого геологического периода камни.

Кстати, об истории людей. Обитатели пустынь, где туманы редки, считают их дымом небесных костров. По мнению бедуинов, отлетевшие души предков тоже, бывает, собравшись под раскидистым саксаулом на какой-нибудь дальней звезде, варят баранину и пекут лепешки. В безветренную ведреную погоду восходящий от этих костров дым достигает Земли и облегает барханы. Если сосчитать увлажнившиеся при этом песчинки, можно с высокой точностью назвать число покинувших нашу планету душ.

Лично я, как человек современный, таким рассказам, конечно, не верю. Ведь самый простой расчет может засвидетельствовать, что, например, дым Холокоста никоим образом не мог за минувшие годы добраться куда-нибудь дальше Меркурия да еще вернуться обратно. Я полагаю, что он по-прежнему здесь, поблизости, и любой человек может, глотнув ненароком тумана, ощутить его горечь.

ДАВНО ХОТЕЛА РАССКАЗАТЬ ТЕБЕ...

Елена БРУК

Переполненный грязный состав отвалил, наконец, от станции Джанкой. Из темного угла вагона дедушка следил за теснившимися в проходе людьми, и сердце его колотилось: что делать, если сейчас придут снимать с поезда, - с подножки прыгать? Бежать по степи? Сам бы спрыгнул и ушел от кого угодно - не догнали бы. Он говорил, что его тогда мало кто мог догнать без лошади.

Но за его руку крепко держался семилетний дядя Сима. (Это на его книги по сверхточной механике, сынок, ты натолкнулся в библиотеке Гарварда). А на коленях у бабушки сладко спала годовалая малышка - моя мама. И точно так же по всему Крыму в тот ранний час сопели и причмокивали во сне сотни детишек - в еврейских коммунах, в домах немецких колонистов, в саклях крымских татар, не ведая, что их ждет.

"До после Симферополя я все опасаюсь, нет ли за нами погони", - писал дедушка.

[Фрайдорфский район охватывал большинство еврейских сельскохозяйственных поселений, созданных на необжитых и наименее благоприятных для сельского хозяйства землях северо-западного Крыма. Он отличался от других еврейских национальных районов тем, что еврейские хозяйства здесь были исключительно переселенческие, основанные в 1920-х гг.]

Их было четверо братьев с женами, и еще бабушкины родственники - молодые, сильные, образованные. Философы, романтики, мечтатели. Они оставили Москву, цивилизацию, университеты и театры, и поехали осваивать голую степь, строить на бесплодной крымской земле свою, новую жизнь. Их манила какая угодно земля, пусть сухая и твердая, как камень, - но своя. Свой язык, свои школы, свои театры и библиотеки - ради этого поехали.

[Еврейский переселенческий участок № 124... впервые отмечен на карте по состоянию на 1931 год... Время присвоения селу названия Фрилинг по доступным историческим документам установить не удалось].

И действительно, откуда знать интернету, что это мой прадед (а твой прапрадед) Мордух Рабинович с сыновьями и соседями назвали основанное ими в 1924 году селение "Фрилинг" - "Весна". Прадедушка Мордух до революции был арендатором богатого польского имения и очень хорошо умел вести хозяйство. А дети его имели инженерное образование - кто российское, кто западное.

Бабушку в ее престижной гимназии



А в районе нету Мони,
Никакого Мони,
Там играет дядя Федя
На своей гармоне.
Дмитрий Сухарев

учили математике, языкам, музыке, а в Крыму пришлось ухаживать за овцами, печь хлеб и месить кизяк. Потом, через десяток лет, в эвакуации ее это очень выручило - единственная из ленинградских дам, она все это умела, и никто так и не узнал, где она научилась.

Вот они и пахали на земле с утра до ночи, налаживали орошение, доили коров, пекли хлеб, растили скот. А в свободное время - строили свой поселок.

И понемногу тощая, солоноватая крымская земля начала оживать и просыпаться. Пошли невиданные урожаи; засушливая степь превращалась в благодатный край. Маслянистым блеском отливало на солнце дедушкино стадо черно-каракулевых овец, а черный каракуль высоко ценился на меховой ярмарке в Лейпциге. Развивалась торговля. Крымские татары продавали овечью шерсть, ковры, молоко и сыр, а немцы - полотно, зерно и муку. Евреи выводили новые сорта овощей. Сладкий фиолетово-красный лук, известный сегодня как крымский, вывели из голландских сортов именно они и именно тогда, в коммуне "Икор".

"Икор" ("Пахарь") основали уцелевшие после погромов выходцы из Белоруссии: в степи у дороги на Евпаторию нашли два заброшенных колодца и развалины усадьбы - и начали строить селение. Американские евреи дали деньги, прислали технику, посевной материал - и слава о коммуне "Икор" пошла по всему Крыму. Принимали туда по очень жесткому конкурсу, и наши сумели вступить туда только в середине 1929 года, уже подняв свое хозяйство. Там были сады, виноградники, бахчи, молочная и мясная ферма. Один за другим росли крепкие, благоустроенные дома из камня.

Немецкие колонисты удивлялись

порядку и пунктуальности в коммунах, искусственному орошению, грамотному севообороту, щупали отборную виноградную лозу, которая поставлялась в Массандру. Приезжали американцы, заходили в дома с водопроводом и электричеством, смотрели, как быстро расцветает и ширится крымское чудо: американцы и сами, кто в первом, кто во втором поколении, бежали из той же самой России, из той же черты оседлости.

Арбузы, дыни, мясо и молоко везли на рынки и в санатории Крыма. Построили школу, библиотеку, маленький театр, ставили спектакли на идиш. Планировали водохранилище с зеркальными карпами, хотели разбить парк и ботанический сад вокруг дома культуры, провести трамвай в Евпаторию. Извечная мечта евреев - своя земля, свобода - уже почти была, казалось, у них в руках: неужели действительно оставят в покое?

А тем временем в нескольких десятках верст от них, на залитой солнцем белой веранде над морем, в плетеном кресле сидел рябой рыжеватый уголовник и решал, что будет с ними завтра.

И вдруг оказалось, что они уже вовсе не гордые и сильные люди, строящие новую жизнь на новой еврейской земле, а простые колхозные рабы, подневольные и бесправные.

Невидимые крепкие нити тянулись с белой веранды к человеческим судьбам, опутывая всю землю. Власть пьянила рябого: одного неуловимого движения прокурорных пальцев было достаточно, чтобы летели тысячи голов, пусть и самых заслуженных и преданных. Чуть шевельни рукой с трубкой - и миллионы марионеток послушно сорвутся с места и сгинут в Сибири.

В "Икор" стали приезжать всякие уполномоченные, распоряжаться, что

и как растить. Заставили сдавать хлеб, запретили разводить овец. Угрозами и шантажом начали сгонять в колхозы - и потихоньку, негласно, брать на заметку самых успешных, самых процветающих и независимых на раскулачивание и за вредительство.

Дедушка сразу все понял - еще раньше, чем американцы, - и начал готовиться к отъезду. Один за другим уезжали родственники - а "Джойнт" все давал и давал Кремлю миллионы долларов на индустриализацию. А потом и уехать стало нелегко - начались аресты "дезертиров колхозного фронта".

Уже понимали, что придется бросить и дом, в который вложено столько любви, и хозяйство, нажитое таким тяжким, таким самозабвенным трудом. Бросить на ветер свои мечты, свои планы, свою молодость. Но лучше уж бросить, чем под дулом нагана отдать. Дурное предчувствие висело в воздухе, и дело было за малым толчком.

Однажды дедушка пошел в Евпаторию договориться о продаже сена. Но не успел дойти до места, как на улице его остановил знакомый милиционер, из бывших соседей. "Домой не возвращайся", - только и сказал он. Дедушка понял, что должен уходить из Евпатории. И послал в "Икор" записку с попутным крестьянином.

"Возьми детей, - писал он, - и из вещей, что можешь унести. Я встречу вас на станции Джанкой. Не теряй ни минуты". Он секунду подумал и дописал внизу: "Иди и не бойся".

Когда в окно постучали, уже стемнело. Бабушка складывала снятое днем с веревки белье. Она разогнулась, прочла записку и бросила ее в печь. Оглядела комнату. Большим хлебным ножом разрезала надвое огромный ковер, занимавший всю стену. Бросила в него две буханки хлеба, пару луковиц, узелок вареной картошки, кое-что из вещей и одежды, закатала и связала веревкой. Разбудила детей, усадила в телегу, отправила туда же этот ковровый узел - и пошла прочь от своего двора. Ни проститься, ни заплакать. Ушла, не оглядываясь - как все беженцы во все времена.

От Евпатории до Джанкой 140 километров, если по дороге. Дедушка добирался напрямую, через степь, ночуя и прячась в балках. И дошел.

"Это было в марте 1931 года, земля была сухая, и я прислушивался к каждому стуку колес, - писал дедушка. - Прислонился к земле, прислушивался, не они ли едут. Наконец я дождался. Прямо на вокзал мы поехали. В чем были, в том и поехали в Москву.

"Семью я решил оставить в Москве, а сам боялся навсегда остаться в Москве, и решил я направиться в Ленинград. Я ведь приехал без документов".



Свидетельство о рождении моей мамы. Его подписал человек, который с приходом немцев стал главным полицаем

Решил и поехал. "Устроился рабочим на стройке (дробил кирпич, копал ямы для фундамента и т.п.). Квартиру снял за 70 рублей в месяц, две комнаты. Коль скоро я имею квартиру, я поехал за семьей".

Мама всегда удивлялась, что за целую жизнь ей ни разу не встретился ни один человек, родившийся там, где она, или живший там в те годы. Куда-то подевалось селение Фрилинг и само упоминание о нем. Исчезли ее земляки, как не было.

Не хотелось пересказывать ей, что поведал мне Гугл и что я подозревала всегда: что людей ее родного селения не арестовывали и не высылали. И не раскулачивали даже. А просто в один день пришли энкавэдэшники и расстреляли на месте всех до единого. Спаслась одна наша семья, да кое-кто из тех, кто бежал еще раньше - в Палестину. А те, кто не успел уехать, навсегда остались лежать в крымской земле.

"Больше всего я боюсь, - говорила мама, будто тоже догадывалась, - оказаться среди тех, кто не успел уехать. По всей Европе, по всему миру во рвах лежат именно те, кто в разные годы по разным причинам не успел - или не захотел - уехать".

[Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 мая 1948 года, Фрилинг переименовали в Николаевку.]

[Николаевка ликвидирована к 1968 году (согласно справочнику "Крымская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1968 года" - в период с 1954 по 1968 годы.)]

Вот такая весна.

Дедушка не застал интернета. Он так и не узнал, что стало с теми, кто остался в "Икоре", кто решил стерпеть, уступить и смириться: Гуревичами, Кучеровыми, Фельдманами, Шапиро.

А там своим обычным путем шла коллективизация. Преподавание в школе потребовали перевести на русский язык: в "Икоре" появились несколько русских семей, бежавших от голода. Из них только один потом не стал полицаем - остальные с готовностью надели долгожданную фашистскую форму.

Этот один. Был ли он праведник? Нет, наверное - такой же малограмотный полтавский крестьянин, как остальные. Но то самое исключение, не дающее умереть вере в людей, один на всю округу, - он все-таки был, он

промелькнул в недолгой истории коммуны "Икор".

[Вскоре после начала Отечественной войны часть еврейского населения Крыма была эвакуирована, из оставшихся под оккупацией большинство расстреляны.]

Дедушка не узнал, что Исаак Кучеров, сын его соседа, вернулся с фронта в Икор и остался там жить, хоть и был дом его занят. Он жил там и выведывал, поил и расспрашивал, ходил на их пьянки и слушал. Он все записал и опубликовал. О немислимых, невозможных зверствах, совершенных в селе Икор. Таких, о которых я не могу здесь писать. О девочках, ровесницах мамы, тех самых, которых ей так и не довелось за целую жизнь повстречать.

Думаю, твое американское воображение, сынок, не сможет вместить этот запредельный садизм: мы ведь живем, притворяясь, что его нет, а он никуда не делся и ждет.

А полицаи, как у них водится, въехали в дома убитых. "Когда начали возвращаться люди из эвакуации, - пишет Исаак, - полицаи не хотели освобождать их дома".

Сладко ли спится потомкам убийц и садистов на чужих постелях? И неужто пьют они воду из тех самых колодцев?

[Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1945 года Икор переименовали в Ромашкино.]

Сколько помню себя, в моей комнате лежал темно-пурпурный шерстяной ковер. Он не изнашивался и не туснел, как его ни топчи. На нем можно было запускать "волчок", возить игрушечные грузовики, строить домики для кукол. По нему мог пройти в тяжелых сапогах сосед-пьяница дядя Саша, а коврику все равно ничего не делалось. Он всегда был как новый - яркий, плотный и очень теплый, с кистями и бахромой с трех сторон и неровным зубчатым краем - с четвертой. Мне только сильно не нравился узор - какой-то изломанный и неприятный, что-то царапало в нем, и я старалась на него не смотреть, когда просыпалась утром. Через много лет увидела этот же орнамент - традиционный персидский - в галерее антикварных восточных ковров на Пятой авеню.

И стоит, наверное, еще и сейчас где-то в Крыму тот добротный каменный дом, построенный моим дедом - а твоим прадедом, имя которого носит твой брат. И живут в нем, наверное, какие-то очередные "крымчане". Как и в Могилеве, и в Лейпциге, и в Питере. А сколько таких брошенных или краденых домов по всему миру - и в Вене, и в Праге...

Но все равно мы с тобой победители, сынок. Наши вытянули счастливый билет - продуктовые карточки и хлебные очереди, коммуналки, войну, блокаду, бомбежки, Ладожское озеро, землянки и окопы. Жизнь.

Иди и не бойся!

КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ О ТРАГЕДИЯХ

Мы спросили раввина, преподавателя, автора неформальных образовательных методик Аба Довида Аббо, как правильно говорить с детьми о трагедиях, что им можно читать и показывать, а от чего, наоборот, стоит уберечь.

- Начну с общего вопроса. В каком возрасте, как вам кажется, можно рассказывать детям о трагедиях и при этом не травмировать их?

- Я думаю, мы недооцениваем детей. Как бы мы ни старались сегодня фильтровать поток информации, они с раннего возраста видят в фильмах и видеоиграх кадры драк и убийств. В реальной жизни дети рано или поздно тоже сталкиваются со смертью, когда уходят их близкие, родственники.

Моей дочери сейчас четыре года, она только начинает задавать вопросы на эту тему. Недавно спросила: "Папа, а ты тоже умрешь?". Мне кажется, обсуждать с ребенком такие вещи нужно в тот момент, когда он начинает спрашивать. Формат разговора, подачи информации может меняться с возрастом. Главное - ни в коем случае не уходить от ответа.

В Вавилонском Талмуде сказано, что отец должен научить ребенка трем вещам. Первая - дать ему ремесло. Вторая - научить Торе, что в переводе на современный язык - дать образование. Третье - научить плавать. Я долго думал, причем здесь плавание. Пока я это объяснил себе так: когда формировался Вавилонский Талмуд, путешествовать и передвигаться на большие расстояния можно было только по морю. И во время плавания нужно было уметь справляться с бедами, если они настигают. В современном мире такое море - это интернет. Поэтому одна из главных обязанностей родителя - научить ребенка в нем плавать.

- В эпоху фейк-ньюз смело можно говорить, что ни Холокоста, ни концлагерей не было, и у этой идеи будут тысячи последователей.

- Если подросток не знает истории, он легко может в это поверить. Когда мне было десять лет, я учился в еврейской школе, на 9 Мая к нам привели ветеранов. Они рассказывали свои трогательные истории, но встреча была очень долгой. Поэтому в какой-то момент мы просто начали смеяться над шуткой одноклассника. Нас, разумеется, отругали, но такой формат изначально не очень подходил для нас, десятилетних дурачков.

Дети должны понимать, что бывают не простые дни, памятные, особые. Главное - не то, что вы запрещаете ребенку в эти дни делать, а ваше собственное поведение. Если он видит, что родители ведут себя иначе, он задумается, почему это происходит.

- Среднестатистический подросток, читая "Дневник" Анны Франк, ей сопереживает. Более давние трагедии вряд ли вызовут у него такие эмоции. Есть какой-то срок давности у исторических событий, после которого они перестают нас задевать?

- Воспоминания о некоторых исторических событиях теряются. В еврейской истории таких событий, как Холокост, было много. Многие из них остались только в учебниках, а в календаре не отмечены. Более того, я уверен, что были трагедии, о которых даже исторического упоминания не сохранилось. Вопрос в том, какие события мы вносим в календарь, а какие - нет?

В Израиле, например, День памяти жертв Холокоста называется по-другому - День Катастрофы и героизма. Я думаю, мы вспоминаем только те события, после которых что-то для себя выносим: чтобы такое не повторилось, чтобы мир не забывал о тех ужасах, на которые способен человек, и боролся с ними.

- Вы слышали о проекте YoloCaust немецко-израильского художника Шахака Шапиро? Он совместил селфи, которые делали посетители мемориала жертвам Холокоста в Берлине, и фотографии из концлагерей. Как вам такая идея?

- Мы обсуждали этот проект с ребятами на занятиях. Изначально мне он понравился, показался очень мощным. В каком-то смысле он и правда мощный - многие были в шоке от увиденного. Однако потом я подумал, что главный вопрос у меня не к тем, кто делал селфи, а к автору проекта. Что он хотел этим сказать? Очевидно, многие не понимали, где находятся.

Я не был на этом мемориале, но слышал, что там нигде не написано его название, нет объяснения этим конструкциям. Получается, художник просто высмеял этих людей. То же самое с популярным видео, на котором молодой человек спрашивает у прохожих, что такое Холокост. Там куча идиотских ответов, начиная от "праздник". Самое страшное в этом видео, что интервьюер сдерживает ржач, - ему смешно, что люди выставляют себя идиотами. Проблема в том, что современное поколение почти ничего не знает про эти события, у них нет информации.

- А как вы относитесь к шуткам про Холокост? Можно ли шутить на тему трагических событий?

- Не думаю, что можно сформулировать четкое правило по этому поводу. Юмор - очень тонкое дело. Если кто-то шутит, чтобы задеть другого, это неуместно. Просто шутка - совсем другое дело. Важно, кто рассказывает, зачем, кому.

- Что вы в таком случае думаете насчет российского закона об оскорблении чувств верующих?

- Не буду вдаваться в эту тему. Скажу только, что если бы спросили верующих, закон выглядел бы иначе.

Сайт "Мел" (публикуется в сокращении)

ПОЛИТРУК И ЕГО ДОЧКИ

Белла КЕРДМАН

Напомню статью, что была опубликована в "Новостях недели" в ноябре 2010-го под заголовком "Г-жа генеральный директор". Госпожу зовут Юлия Систер. Она репатриантка из Кишинева, доктор химии и активный общественный деятель: занимается популяризацией науки, публикует статьи в Краткой еврейской энциклопедии. А главное ее сейчас занятие - руководство замечательным проектом светлой памяти врача и писателя Михаила Ароновича Пархомовского: научно-исследовательским центром "Русское еврейство в Зарубежье и Израиле". За время существования проекта там вырос крепкий коллектив. Центр выпустил 20 книг. Для этих коллективных изданий пишут более 300 авторов - историки, философы, журналисты, "технари", ученые. Основная тематика таких сборников - вклад русского еврейства в развитие стран мира.

А начиналась та моя статья с события, далеко отстоящего в пространстве и времени, когда госпоже Юлии Давидовне было шесть лет и проживала она с папой и мамой на берегу Волги. А на другом берегу вовсю грохотала война, которую там и тогда называли Великой Отечественной (как и по сей день в России), а в большинстве других стран - Второй мировой. И некий военкор газеты "Красная звезда" посвятил Юле стихотворение "Девочка в степи". Фамилии автора этого стихотворения не называю, из дальнейшего текста станет ясно, почему. Воспользуюсь псевдонимом, пусть будет Политрук. Тем более что у него действительно появится такая кличка: он получит ее спустя несколько лет, в другой совсем жизни - в Израиле.

Но не будем забегать вперед. Пока у нас время действия 1941-й или 42-й год, а место действия - маленький сельский поселок, где главврачом, а по сути, доктором за все - Давид Иосифович Систер, отец Юли. Кстати, медицинское образование получивший в Карловом университете Праги. Стихотворение Политрука, посвященное маленькой девочке, начиналось так:

*Далеко от родины чудесной,
Там, где Волга медленно течет,
Расцветая, как цветок прелестный,
Маленькая девочка живет.
За рекой, где веют ветры, вьюги,
Где степная ширь и даль видна,
Не имея ни одной подруги,
Девочка проводит дни одна...*

Юлия Систер вспоминает: "Мы жили в эвакуации в степи за Волгой, между селами Иловатка и Колышкино. На другом берегу был Сталинград, там шли бои. Однажды недалеко от нас приземлился небольшой самолет. Из него вместе с летчиком вышел мужчина с девочкой примерно моего возраста и рассказал маме, что его жена недавно погибла, ему надо на фронт, а дочку не с кем



Три сестры: Роза (слева), Юлия и Ирит (стоит)

оставить. Можно, она побудет некоторое время у нас, он ее заберет, когда вернется с задания? Мама согласилась, и я, единственный в том месте ребенок, была счастлива: у меня появилась подружка! Девочку звали Розочкой".

Спустя два года Юлия Давидовна позвонила и сообщила замечательную новость: моя статья о ней, генеральном директоре, помогла Розочке, также репатриантке, живущей теперь в Израиле, ее разыскать. Они встретились у Юли дома в пригороде Реховота. Причем, Роза приехала не одна, а вместе с Ирит, дочерью отца от израильского брака, которую она здесь разыскала.

Эпизода своего детства - кратко пребывания в доме Систер она никак не могла вспомнить. Юлия смекнула, в чем тут дело. Она родилась крошечной, весом в 2 кг, и бабушка заметила, что для такой маленькой девочки имя Юлия слишком взрослое, ей больше подойдет зваться Аллочкой. Услышав это уточнение, Роза всплеснула руками: "Так ты Алла Систер?!", и тут же произнесла последние строчки из папиного стихотворения о девочке в степи. Она не читала его, стоя на табуретке, со сцены совхозного клуба села Иловатки, где они с отцом тогда жили. Возможно, он тем клубом заведовал, во всяком случае, ставил там спектакли, это она помнит. С родителями Юлии папа, вероятно, был знаком. То есть, отправляясь с заданием на фронт, он доверил дочку не случайным людям. Вместе женщины многое вспомнили из того своего общения в детстве. Игрушек у них не было, много фантазировали. Придумывали для себя игры - например, кто раньше встанет. Юля даже упала однажды под утро с кровати, стараясь не проспать...

В семейном архиве Систер сохранилось письмо, которое автор стихотворения "Девочка в степи" прислал матери Юли: "Глубокоуважаемая Евгения Моисеевна! Случилось так, что мы (я и Розочка) пересели посреди дороги, и я не успел поблагодарить Вас за то поистине благодарное и глубоко человеческое отношение, которое Вы проявили к моей дочке. Только нежное материнское (и притом - еврейское) сердце способно проявить такую доброту к несчастному ребенку, каким является в настоящий момент моя дочь. Трудно выразить словами ту теплоту, какую ощутила Розочка в Вашем доме... Впервые с тех пор, как грянула война и на нас обрушились такие лишения и страдания, она улыбнулась настоящей детской улыбкой...". Копию этого письма Юлия сделала для Розы.

Получив от Ю.Систер электронный адрес Розочки, что явилась к ней почти 70 лет назад "с неба", я отправила туда "емелю". У нас завязался диалог в интернете, и это общение продолжается поныне. Отвечая на мои вопросы, Роза, в частности, сообщила: "Я ничего не могла вспомнить из своей жизни в семье Юли, пока не услышала, что в детстве ее звали Аллочкой. И тогда я сказала: "Ты - Алла Систер?! Послушай:

*Разгромим разбойников-фашистов,
День придет, когда вернется вновь
С папой, с мамой наша Алла Систер
В свой родной, любимый Кишинев.*

Я свое детство провела по голодным детдомам военного времени. Но с 6-го класса жила у бабушки. Дедушки у меня не было. Жили мы очень трудно. Никто за мной не стоял - я сама себя сделала. Моя профессия - математик, преподавала

высшую математику в экономическом вузе в Донецке.

Мы приехали в Израиль в 1993 году. Стали наводить справки о папе. Нам ответили, что он здесь жил, умер в 1979-м. У него была семья - и дали телефон его дочери Ирит. Она - учительница, уже на пенсии, занимается мелким бизнесом: диетами для похудения. Не сразу мы, родные сестры по отцу, стали близкими, но время взяло свое, теперь мы очень привязаны друг к другу. Вместе побывали на кладбище, где похоронен папа. Вместе съездили в Киев. Папа родом из Белой Церкви, мы ходили по местам, где он мальчишкой бегал, посетили еврейское кладбище.

Семья у меня среднестатистическая олимовская: три дочери, пять внуков, двое правнуков. Старшему внуку 37, а внучка подарила мне двух очаровательных правнуков. Младшей дочери - 45; когда родился мой первый внук, ей было пять с половиной лет, то есть бабьего лета - периода в жизни женщины, когда дети уже выросли, а внуков еще нет, - мне, таким образом, не досталось. Все мои близкие сейчас в Израиле, кроме одного внука Димы, который живет в Киеве, мы с Ирит у него побывали.

В телефонной беседе с Розой я более подробно узнала о ее советском детстве. На время следующей командировки на фронт отец оставил девочку в детдоме недавно освобожденного города Николаева, там она пошла в первый класс. И от недоедания настолько отошала, что не могла ходить. Приехавший за дочкой папа вынес ее из этого дома на руках. А вскоре, уезжая на очередное задание, определил Розу в московский детприемник. Там ее нашла родная сестра матери, Белла. Они вместе встретили День победы. Тетку-пианистку посадили в кузов грузовика вместе с инструментом, и они ездили по ликующей столице; Белла играла под аккомпанемент победных салютов...

Дальше был детдом в городе Сталино, как тогда назывался нынешний Донецк, где тоже жили впроголодь; туда к ней отец однажды приезжал. Затем Розу отправили в Киев, к другой тетке - Симе, у которой муж погиб на войне. Та работала на ткацкой фабрике, и отдала племянницу в расположенный неподалеку детдом. А оттуда группу детей, в числе которых была и Роза, увезли на поправку во Львовскую область - "на дешевую картошку". Там она, 12-летняя, была единственной еврейкой и познала полной мерой, что такое антисемитизм.

Отец навсегда исчез из жизни Розы в 47-м, а год спустя бабушка забрала ее к себе в Донецк. В этом городе и сложилась дальнейшая ее судьба, оттуда она со своей семьей репатрировалась в Израиль.

Роза прислала мне фотографии со встречи в доме Юлии, а также копию газетной статьи с историческим снимком: момент подъема самодельного, так называемого, "чернильного" флага над Эйлатом 10 марта 1949 года, когда туда вошли наши. При этом она сообщила,



Подъем "чернильного" флага

что второй слева на снимке - тот, что в кепке... ее и Ирит отец!

С ума сойти! Где, как говорится, имение, а где наводнение! Где совхоз № 55 в селе Иловатка, а где город Эйлат? То есть, совхоз в степи за Волгой - это глубинка СССР, а Эйлат на Красном море - это уже Израиль, только что освобожденная еврейская территория. Известно, руководитель отряда пальмахников, выйдя к этой географической точке, передал в штаб: "Мы дошли до конца карты". Ничего себе, траектория перемещения одного конкретного лица еврейской национальности!

Снимок с самодельным флагом (впоследствии в центре Эйлата появится скульптурный памятник, повторяющий его композицию) сопровождается текстом на иврите, который мне самой не прочитать. Отправляю его по электронке знающему и обязательно человеку, и вскоре получаю русский перевод, шокирующий до оцепенения. Вот эта детективная история, пересказываю близко к тексту.

Имярек, известный в Израиле также прозвищем "Сашка-Политрук" (то есть отец Розы), был комсомольцем, служил офицером Красной армии и участвовал в финской войне. Во время Второй мировой был политруком в дивизии, воевавшей на территории Украины. После войны его назначили комендантом одного из чехословацких городов. Демобилизовавшись, добрался через Польшу до Палестины. В августе 48-го, во время Войны за независимость был призван в ЦАХАЛ и попал в 7-й полк дивизии "Негев", под командование Узи Наркиса. В эту дивизию мобилизовали тогда многих репатриантов. В октябре 1948 года он был ранен и госпитализирован, а после выздоровления снова участвовал в боях.

Он не был официально назначен офицером отдела культуры (по современной терминологии - отдела просвещения), но фактически считался таковым в кругу друзей, поскольку во время сражений подбадривал бойцов, выкрикивая лозунги, принятые в Красной армии (например, "За Родину!"). В октябре 1948 года после неудачной атаки дивизии на иракское подразделение под Аль Маншиа (на его развалинах позднее был



Сашка-Политрук (в кепке-гитлмахере)

построен город Кирьят-Гат), Политрук для поддержки боевого духа воинов высек на стене по-русски: "7-й полк жив и существует!"

По окончании Войны за независимость он демобилизовался, но не нашел для себя места в гражданской жизни. Вернулся в армию и, окончив офицерские курсы, был назначен помощником командира района Рамле. Здесь у Политрука случился конфликт: некая женщина обвинила его в "атаке" (надо полагать, в сексуальных домогательствах). Военный суд приговорил офицера к условному понижению в должности, и он вскоре оставил военную службу.

Штатская жизнь у Политрука как-то сразу не заладилась. Работать корреспондентом он не мог - иврит слабый, а русский язык во "второй древнейшей" молодой стране тогда не был нужен. В 50-м году женился, но жена от него вскоре ушла, забрав дочь - ту самую Ирит, которую обрела сейчас ее сестра Роза. В 1956 году Политрук оставляет Израиль в намерении поискать свое счастье в Европе.

А дальше следует то, что вышибло меня из колеи. Две недели маялась, не знала, как поступить. Писать, как есть, - опасалась навредить репутации дочерей, внуков и правнуков этого человека. Не писать ничего, - значит, пренебречь явным "скупом", изменить профессии. Доскажу историю Сашки-Политрука - тогда ясно будет, в чем проблема.

В Европе он пустился во все тяжкие в поисках своего места под солнцем. В Швейцарии обратился в советское консульство с просьбой разрешить ему въезд в СССР для поиска дочери от самого первого брака (нет, это не была Розочка). Получил отказ. В советском консульстве в Австрии снова сделал такую попытку, сказав, что сионисты соблазнили его и убедили покинуть СССР. Ему предложили место на радиостанции "Свободная Европа" в качестве, по сути, советского шпиона для двух "объектов": коллектива собственно радиостанции и еврейской общины Вены - за 20 тысяч шиллингов. После того, как он передал отчет о еврейской общине (по его словам, основанный только на открытых данных), Политрук уехал в Мюнхен. Там он предложил свои услуги разведчика американцам. Узнав о предстоящей проверке на детекторе лжи, быстро убрался в Париж, где связался с представителями Египта. Египтяне рады были человеку с военным прошлым, готовому работать на них, и через Афины отправили его в Каир. Он провел там несколько недель, рассказал все, что знал о ЦАХАЛе, и был проинструктирован насчет работы египетским агентом в Израиле.

Однако, возвратившись в

Эрец-Исраэль, Политрук сразу явился к своему бывшему командиру Узи Наркису, который занимал уже высокую должность в отделе разведки генштаба Армии обороны Израиля. Признавшись, что стал "египетским шпионом", наш доброхот предложил себя в качестве двойного агента. На него немедленно надели наручники. И приговорили к пяти годам заключения. Прокурор и государственный советник юстиции потребовали ужесточить срок, считая его недостаточным. Но! Судьи, надо отдать им должное, хорошо разбирались в людях, они поняли, что Сашка-Политрук был скорее легкомысленным авантюристом, чем врагом молодого еврейского государства, и оставили свой приговор в силе.

Возможно, судьи учли также его прошлое советского политрука, которого с младых ногтей воспитывали так, как всех нас тогда воспитывали - еврейского самосознания там близко не было! И еще, возможно, они испытывали чувство благодарности к участнику Второй мировой войны и к стране его исхода, которая не только сломала хребет фашизму, а и поддала свой решающий голос за то, чтобы Стране Израиля - быть! Обратите внимание: Сашку-Политрука не убрали с исторической фотографии и скульптурного памятника в Эйлате, как непременно сделали бы в Союзе.

И я подумала: если для человека сделал снисхождение суд страны, которую он вроде бы намеревался предать, если эта страна хранит память о том хорошем, что он для нее сделал, имею ли я право, опубликовав сейчас его полное имя, бросить тем самым тень на его потомков? Обо всем этом написала "трудное письмо" Розе. Она согласилась: пусть будет Политрук.

Остается добавить, что после выхода из тюрьмы отец Розы и Ирит жил в поселке Шломи, на севере Израиля. Что работал одно время санитаром в больнице Нагарии. Что умер он в 1979 году, в возрасте 63 лет, похоронен в Хайфе. Что на могиле его стоит камень в виде почтовой марки - Политрук был филателистом. И что дочери, "несмотря ни на что", его любят, - так написала Роза. "Он был душой любой компании, с ним всегда было интересно. Бабуля рассказывала, что, когда он приезжал из Киева в Сталино, то соседи со всей их одноэтажной улочки со своими табуретками вечером сходились к нам во двор послушать, что расскажет Саша (телевизоров-то не было). И он очень любил племянников, ходил с ними в зоопарк, в кино - они его обожали".

А в телефонном разговоре Роза сообщила, что однажды могилу отца посетили... ТРИ его дочери. Третью, от самого первого брака Политрука, зовут Женей, она родилась и живет в России, сестры-израильтянки пригласили ее в гости.

Тут такое, оказывается, дело. Однажды гадалка поведала Розе, что у нее есть три сестры. "Нет, я одна", - возразила та. "Это у мамы своей ты была одна, а у отца вас четверо". На всякий случай, Роза

послала запрос в Иловатку: мол, мой отец, такой-то, проживал в вашем селе, возможно, у него была семья... Так она разыскала сестру, которую зовут Женей. В Израиле нашлась Ирит. Не исключено, что найдется и четвертая их сестра...

Мы уже познакомились с Розой и живые - однажды она приехала ко мне в Мазкерет-Батью. Хорошо, душевно пообщались. Ее заинтересовал старый подсвечник, который я приобрела как-то на Блошином рынке, она стала его рассматривать. Призналась, что собирает подсвечники. А я, как на то, собирала деревянные тарелки - в Одессе, здесь ни разу не попадались. Расставшись с парой-тройкой подсвечников, получила от Розы посылку с вождельными тарелками...

Завершить статью хочу забавным историческим эпизодом из жизни Сашки-Политрука. Порыскав в интернете, я обнаружила снимок, о существовании которого не знали ни Роза, ни Ирит. На берегу сидят усталые израильские солдаты, а в воду бежит голый человек в кепке, он снят со спины. Текст там такой: "Пока пели "А-Тикву", пацаны боялись, что Сашка-Политрук еще заставит их петь "Интернационал" и "Техезакну". Но все обошлось, и, едва допев гимн, Сашка разделся до трусов Гитлмахера и стал первым евреем, искупавшимся в Красном море за последние 2000 лет". И кто-то сфотографировал первую еврейскую задницу в только что снова ставших нашими водах.

Цитата с поправкой (перечеркнутыми трусами) взята из книги легендарного Аврама Брена, который полез на флагшток с самодельным "чернильным" флагом 10 марта 49-го года, когда пальмахники вышли к Эйлату. Тот флаг, правда, провисел всего два часа, после чего был сменен стандартным, когда к месту подошли "голанчики". Но история была сделана! Да хранится светлая память об Авраме Адане по кличке Брен, которого 28 сентября 2012 года похоронили...

Нахожу в интернете, что "Техезакна" - это песня на стихи Хаима Нахмана Бялика, ставшая "социальным" гимном Страны. А кто же такой или что же такое Гитлмахер? Интернет не знает... Господи, да я же сама знаю! На идише, вспомнила, это кустарь-шапочник! Значит, речь о кепочке Сашки-Политрука, возможно, так сей "фасон" тогда называли. Переводчик текста Брена с иврита написал это слово с большой буквы, очевидно, не поняв его значения. А может, так и надо - с большой? Ведь кепочка-"гитлмахер" была на голове первого еврея, вошедшего в воды Красного моря после 2000 лет нашего в тех краях отсутствия. Чем не факт для Гиннеса!

И еще факт в тему. В ознаменование 65-й годовщины со дня провозглашения независимости Израиля в Эйлате на стене одного из ангаров, расположенных на территории базы ВМФ, нарисован гигантский бело-голубой израильский флаг размером 3600 кв. метров. Флаг, ставший самым большим нарисованным флагом в Израиле, виден не только со стороны города, но и со стороны моря.

ЙОСЕЛЬ РАКОВЕР ГОВОРИТ С БОГОМ

Восстание в Варшавском гетто оставило после себя голоса нескольких своих погибших героев, доверивших последние мысли и надежды исписанному клочку бумаги, вложенному в бутылку из-под зажигательной смеси и похороненному в развалинах. Голосам нескольких мертвецов из пылающего гетто весны 1943-го довелось внезапно ворваться в мир живых спустя многие годы.

Однако я решил предоставить здесь слово не молодому сионисту-социалисту из Еврейской боевой организации, в свой последний час мечтавшему о свободном государстве Израиль, и не кадровому сержанту Войска Польского, считавшему себя частью сражающейся Польши, польским солдатом с еврейской кровью. Письмо, которое приведено ниже, написано

зрелым и многосемейным человеком, ученым раввином, плоть от плоти самых консервативных и традиционных кругов европейского еврейства, крайне далеких от любой модернизации или ассимиляции.

Поэтому особенно показательно, какие мятежные идеи и какие запретные вопросы рождаются в его сознании под влиянием чудовищных невзгод его народа и личной трагедии.

И еще: когда слишком многие "мудрецы и книжники" с покорностью мистиков-фаталистов шли в газовые камеры, объясняя свою гибель и бессмысленность борьбы высшей предопределенностью, он взял в руки оружие и дрался до конца.

Пишет Иосеф (Иоселе) Раковер из сражающегося Варшавского гетто:

"Варшава, 28 апреля 1943 г.

Я, Иосель, сын Иоселя Раковера из Матернополя, хасид рабби из Гура, потомок рода святых и великих праведников из семейств Раковеров и Майзлес, пишу эти строки в час, когда Варшавское гетто пылает, а дом, в котором я нахожусь теперь, - один из последних, еще не объятых огнем. Уже в течение нескольких часов мы подвергаемся обстрелу, и стены вокруг меня рушатся. Еще немного, и дом, в котором я нахожусь, превратится в могилу для своих защитников и жильцов, как и все наши дома в гетто. Огненно-красные острые лучи солнца, проникающие через маленькое окошко моей комнаты, из которого мы дни и ночи стреляли по врагу, говорят мне, что теперь вечер, сумерки заката. Солнце, конечно, не знает, насколько не жаль мне, что больше не увижу его...

Когда я с женой и детьми - их было шестеро - скрывался в лесах, ночь, только ночь укрывала нас; день же выдавал нас в руки преследователей. Разве забыть мне тот немецкий огненный град, падавший на головы тысяч беженцев по дороге из Гродно в Варшаву? С восходом солнца поднялись в воздух самолеты и в течение целого дня сеяли смерть. Там погибла моя жена с моим семимесячным птенцом на руках, а двое из оставшихся пятерых детей потерялись в тот день. Трое уцелевших детей погибли в Варшавском гетто.

Теперь наступает мой час. Подобно Иову я мог бы сказать о себе: "Нагим я вышел из чрева матери моей, и нагим возвращусь я туда". И эти слова отозвались бы тысячеголосым эхом. Мне сорок лет, и, оглядываясь на прожитые годы, я утверждаюсь в уверенности (в той мере, в какой человек может быть уверенным в себе), что жил честно. Удача сопутствовала мне в жизни, но я никогда не кичился этим. Дом мой был открыт для всех нуждающихся, и я был рад делать людям добро. Я поклонялся Богу восторженно и просил у Него только одного: чтобы дал мне служить Ему "всем сердцем твоим, всею душою твоею и всею силой твоей".



После всего пережитого мною я не могу утверждать, что мое отношение к Богу не изменилось, но знаю, что моя вера осталась неизменной. Раньше, в добрые времена, я относился к Нему, как к тому, кто неустанно осыпает меня своими благодеяниями, я же всегда оставался в долгу перед Ним. Теперь я отношусь к Нему, как к тому, кто и мне что-то должен. Поэтому я полагаю, что имею право требовать от Него. Но я не говорю, как Иов: "Объяви мне, за что Ты со мною борешься". Те, кто выше и лучше меня, убеждены, что это не наказание за грехи

и что происходит в мире нечто ни с чем не сравнимое - час сокрытия лица.

Бог сокрыл Свое лицо от мира и тем самым принес людей в жертву их диким инстинктам. И поэтому кажется мне вполне естественным, к сожалению, что когда в мире властвуют инстинкты, первыми их жертвами приходится быть тем, в ком живет нечто Божественное, чистое. В этом нет утешения. Но судьба нашего народа решается не согласно земным расчетам, а согласно устремлениям, духовным и Божественным, и поэтому верующий еврей обязан видеть

в происходящем часть большого счета Бога, по сравнению с которым так малы все человеческие трагедии. Это не означает, что верующие евреи должны безропотно принимать беды, говоря: "Судья праведен и суд Его праведен", то есть что мы заслужили те удары, которые мы получаем, ведь в этом было бы самоосквернение и профанация имени Божьего.

В нынешнем положении я, разумеется, не жду чудес и не прошу Бога сжалиться надо мной. Я не буду пытаться спастись и бежать отсюда. Я помогу огню, смочив одежду бензином. У меня осталось еще три бутылки с бензином после того, как несколько десятков таких бутылок израсходованы на врагов. Это было великое мгновение в моей жизни, я смеялся. Никогда бы не подумал, что гибель людей, даже если это враги, даже если это такие враги, может так обрадовать меня. Пусть гуманисты-глупцы говорят, что им угодно, - отмщение было и всегда будет последним переживанием боя и самым большим удовлетворением для души. До сих пор я никогда не понимал с такой ясностью изречение Гемары: "Велико отмщение, заключенное меж двумя именами, как сказано: "Бог отмщений Господь". Теперь я пойму это. Теперь почувствую и познаю, почему радуется сердце при мысли о том, что на протяжении тысячелетий мы называем нашего Бога Богом отмщений - "Бог отмщений Господь".

И теперь, когда я вижу жизнь и мир тем ясным, особым взглядом, который лишь в редких случаях дается человеку перед смертью, мне кажется, что есть коренное различие между нашим Богом и их богом. Наш Бог - Бог отмщений, нашей Торой предусмотрены строжайшие наказания за незначительные проступки, но достаточно было Сангедрину вынести смертный приговор один раз в семьдесят лет, чтобы его сочли жестоким. Их бог заповедовал любить всякого, кто сотворен по образу и подобию, и с его именем проливают нашу кровь ежедневно вот уже две тысячи лет...

Варшавское гетто погибает с боем, с выстрелами, с борьбой, в пламени, но без воплей. Евреи не кричат от ужаса. Они принимают смерть как избавителя.

У меня есть только три бутылки, и дороги они мне, как вино для пьяницы. Когда я вылью на себя содержимое одной бутылки, я положу в нее бумагу, на которой я пишу теперь, и спрячу между кирпичами... И если когда-нибудь кто-нибудь найдет ее и прочтет, быть может, он поймет чувства еврея, одного из миллионов, который умер, покинутый Богом, в Которого он так верит. Две оставшиеся бутылки я разобью о головы нечестивцев, когда наступит мой последний миг.

Я горжусь тем, что я еврей, не назло миру, так относящемуся к нам, а именно из-за этого отношения. Я стыдился бы принадлежать к народам, которые





произвели на свет и взлелеяли преступников, ответственных за то, что делают с нами.

Я горжусь тем, что я еврей, потому что трудно быть евреем, о, как трудно. Не нужен героизм, чтобы быть англичанином, американцем или французом. Проще, удобнее быть одним из них, но ни в коей мере не почетнее. Да, это честь - быть евреем!

Я верю, что быть евреем означает быть воином, вечным пловцом, плывущим против человеческого потока, мутного и преступного. Еврей - это герой, мученик, святой. Вы, ненавистники, говорите, что мы дурны, злы. Мы тоньше и лучше вас, - посмотрел бы я, как бы вы выглядели на моем месте.

Я счастлив принадлежать к несчастнейшему из всех народов земли, чей Закон - представитель всего самого возвышенного и прекрасного в законах и этиках. Этот освященный Закон ныне оскверняют и топчут ненавистники Бога, тем самым только увековечивая и освящая его.

Я верю, что евреем рождаются, как рождаются художником. От этого не уйти. Это Божественная ценность в нас, делающая нас избранным народом. Чужому не понять это, никогда не понять высший смысл, заключенный в освящении имени. Нет ничего целее разбитого сердца, сказал один великий праведник, и нет народа более избранного, чем народ, постоянно преследуемый. Если бы не моя вера в то, что мы избраны Богом, я поверил бы, что мы избраны нашими бедами.

Я верю в Бога Израиля, хотя Он сделал все, чтобы в Него не верили. Я верю в Его законы, даже если не могу найти объяснение для Его деяний. Мое отношение к Нему больше не отношение раба к своему господину, а отношение ученика к учителю. Я склоняю голову перед Его величием, но не буду целовать палку, которой Он подвергает меня наказанию. Я люблю Его, но Его Тору буду любить больше, и если бы я даже разочаровался в Нем, я хранил бы Его Тору. Вера в Бога - религия, Его Тора - образ жизни, и чем больше нас погибает за этот уклад жизни, тем увереннее он входит в бессмертие.

Ты утверждаешь, что мы грешили, - конечно, грешили. И поэтому мы наказаны? Я могу понять и это. Но скажи мне,

есть ли на земле грех, заслуживающий такое наказание, которому подвергнуты мы.

Ты утверждаешь, что воздашь ненавистникам по заслугам! Я убежден, что будешь воздавать беспрестанно. Я не сомневаюсь в этом. Но скажи, есть ли на земле кара, способная искупить такое злодеяние?

Быть может, Ты говоришь, что теперь речь идет не о грехе и каре, что нынче час сокрытия лица, когда Ты оставил людей на произвол их инстинктов. Хочу я спросить у Тебя, Боже, и этот вопрос жжет меня огнем губительным: что еще, о, что еще должно произойти, чтобы Ты вновь открыл нам Свое лицо?

Хочу открыто сказать Тебе, что теперь мы унижаемы и притесняемы больше, чем когда-либо на нашем бесконечном пути страданий, и замученных, погранных, задуренных, погребенных заживо и сожженных заживо среди нас больше, чем когда-либо, нас уничтожают миллионами. Мы вправе знать, где кончается Твое долготерпение!

И еще хочу я сказать Тебе: прошу Тебя, не натягивай веревку сверх меры, потому что она может, не дай Бог, разорваться. Испытание, которому Ты подверг нас, столь тяжело, столь тяжело и горько, что Ты должен, Ты обязан простить тех из сынов народа Твоего, которые отвернулись от Тебя в несчастье своем и в гневе своем.

Прости покинувших Тебя в несчастье своем и прости покинувших тебя в счастье. Ты подвергал нас испытаниям бесконечной борьбы, пока боязливые среди нас были вынуждены бежать, куда глаза глядят. Не карай их за это. Трусов не наказывают, их жалеют. И над ними, больше чем над нами, смилуйся, Боже!

Прости осквернивших имя Твое, прости тех, кто пошел за чужими богами, кто стал равнодушным к Тебе. Ты подверг их таким мукам, и они потеряли веру в то, что Ты их Отец, что у них вообще один Отец.

Я говорю Тебе это, потому что верю в Тебя, потому что теперь я знаю: Ты мой Бог, ведь Ты не можешь быть Богом тех, чьи поступки - ужасающие проявления воинственного безбожия.

Ведь если Ты не мой Бог - чей же ты Бог? Бог убийц?

Если мои ненавистники столь темны и столь злы - кто я, как не носитель

частицы Твоего света, Твоей доброты?

Я не могу восхвалять Тебя за деяния Твои, несущие страдания, но я благословляю и прославляю Тебя за то, что Ты есть, за Твое страшное величие, которое, вероятно, столь могущественно, что все происходящее теперь для Тебя не имеет значения.

Но именно потому, что Ты столь велик, а я так мал, - я прошу Тебя, остерегаю Тебя ради имени Твоего: не выделяй больше Твое величие тем, что даешь истязать несчастных.

Я не прошу Тебя покарать виновных. В конце концов они сами покарают себя, - это заложено в самой природе ужасных событий, потому что с нашей смертью умирает совесть мира, потому что весь мир погибает с убиением Израиля.

Мир сам сожрет себя в своей порочности, он утонет в своей крови.

Смерть не может больше ждать, и я вынужден кончить. С верхних этажей все тише доносятся выстрелы. Падают последние защитники нашей крепости, и вместе с ними рушится и погибает большая Варшава, прекрасная богобоязненная еврейская Варшава. Солнце заходит, и я благодарю Бога за то, что больше не увижу его. Я вижу багрянец пожаров и клочок неба, красный и беспокорный, как поток крови. Самое позднее через час я буду уже с моей женой, с моими детьми и с миллионами других сыновей моего народа в том лучшем мире, в котором нет больше сомнений и в котором Бог - единственный властелин.

Я умираю спокойный, но не удовлетворенный; изувеченный, но не отчаявшийся; веруя, но не прося пощады; любя Бога, но не повторяя слепо "амен".

Я шел за Ним и тогда, когда Он отталкивал меня от Себя. Я исполнял Его заповеди и тогда, когда Он карал меня за это. Я любил Его, был и остался любящим Его, даже если Он подвергал меня смертным мукам, отдавал меня на осмеяние и поругание.

Мой рабби часто рассказывал мне о еврее, который вместе с женой и детьми бежал от испанской инквизиции и в непогоду на маленьком суденышке добрался до скалистого острова. Молния убила его жену. Шторм унес в море его детей. Лишившийся близких, одинокий, как камень, нагой и босой, истерзанный бурей, испуганный громами и молниями, с растрепанными волосами и с руками,

простертыми к небу, еврей шел дальше по скалистому необитаемому острову и взывал к Богу, говоря так: "Властелин миров! Я бежал сюда, чтобы служить Тебе, исполнять Твои заповеди и освящать Твое имя. Ты же много делаешь для того, чтобы я оставил мою религию. Но если Ты думаешь этими испытаниями принудить меня оставить путь истинный, я говорю Тебе, мой Бог и Бог отцов моих, что это Тебе не удастся. Ты можешь сокрушить меня, Ты можешь отнять у меня самое дорогое и лучшее в мире, Ты можешь подвергнуть меня смертным мукам - я всегда буду верить в Тебя. Знай же твердо: желают или не желают того небожители, я еврей и евреем останусь. И ничего не изменят испытания, которые Ты обрушил на меня и которые обрушишь!"

Это и мои последние слова к Тебе, мой Бог ярости.

Ты сделал все, чтобы я разуверился в Тебе, чтобы я не верил в Тебя. Но я умираю, как жил, с крепкой, как скала, верой в Тебя.

Да будет восхваляем во веки веков Бог мертвых. Бог отмщения. Бог истины и правосудия, Который вновь озарит лицо Свое для мира и сотрясет основы его Своим могучим гласом:

- Слушай, Израиль! Господь - Бог наш, Господь един!

Руке Твоей вручаю мой дух".

**Источник: Михаил Кожемякин
Прислал Игорь Пекер со
следующим уточнением:**

"Текст письма от имени рабби Йосефа (Йоселе) Раковера был написан в 1946 г. Цви Колицем (Zvi Kolitz) для аргентинской газеты на идише. Через несколько лет это письмо было переведено на английский язык и иврит и начало жить своей жизнью - без указания его автора. Оно даже рассматривалось как реальное свидетельство участника восстания в Варшавском гетто, и в таком виде вошло в несколько антологий и книг по истории Холокоста.

И только значительно позже Колицу удалось восстановить свои авторские права на этот текст, и письмо было опубликовано в его книге "Yosl Rakover Talks to God" ("Йосель Раковер говорит с Богом"). В последующем эта книга была переведена на иврит, французский, итальянский, немецкий и другие языки".

НАЙТИ СЕБЯ В ЛЮБИМОМ ХУДОЖНИКЕ...

Исаак Кушнир и его служение искусству Анатолия Каплана

Алек Д.ЭПШТЕЙН

"Польша, 1976 год, город Сопот. Из всех достопримечательностей города меня устойчиво интересуют только книжные магазины. Здесь, в считавшимися тогда братскими странами, можно дешево, относительно свободно и на русском языке купить Булгакова, Пильняка, Цветаеву, Ремизова, Замятина, альбомы по искусству. Трепет, волнение от вдруг нахлынувшей доступности. Глаз резко выделяет немецкий альбом с еврейской фамилией Каплан. Проявляю любопытство - имя для меня незнакомое. Начинаю пролистывать и обмираю: в рисунках, гуашах, как дежавю, картинки моего детства, местечка, где я родился и прожил восемнадцать лет с дорогими моему сердцу персонажами, сюжетами, где пластика, цвет, детали до боли естественны и точны. А мне уже тогда казалось, что культура местечка и идиш безвозвратно исчезают. Охватившее меня волнение от пристальной достоверности увиденного незабываемо. Родина Каплана - белорусский город Рогачев, как слепок с моего местечка, как слепок с тысяч других местечек еврейской оседлости".

Этими пронзительными словами описал Исаак Яковлевич Кушнир свое первое знакомство с творчеством человека, которое повернуло всю его последующую жизнь. В 1976 году ему было 25 лет, и от мира искусства он был весьма далек: уже окончив к тому времени Ленинградский политехнический институт, он работал инженером-электриком на заводе "Электросила". Ничто не предвещало того, что именно Исаак Яковлевич на долгие годы станет главным подвижником и пропагандистом творчества Каплана, собирателем его работ и их щедрым дарителем многочисленным музеям... Подлинная трагедия состоит в том, что сам художник об этом не мог даже догадываться; Анатолий Львович (Танхум бен Леви-Ицхок) Каплан ушел из жизни в возрасте семидесяти семи лет в 1980 году, и Исаак Яковлевич, к огромному сожалению, так и не успел познакомиться с ним лично.

А.Л.Каплан родился и вырос в еврейском местечке под Гомелем, и хотя уже с 1922 года - и, за исключением военных лет, до конца своих дней - жил в городе на Неве, воспоминания о той среде, в которой он вырос, всю жизнь оставались для него неисчерпаемым источником вдохновения. "Он навсегда сберег в своей памяти мельчайшие детали еврейского быта, лица многочисленных друзей, родственников и соседей - одним словом, весь тот мир черты оседлости, в котором он вырос", - свидетельствовал профессор Александр Щедринский, близко

знавший Анатолия Каплана на протяжении последних пятнадцати лет его жизни. По командировке районного отдела народного образования А.Л.Каплан был направлен в Петроград, где начал учиться на живописном факультете Академии художеств, называвшейся тогда Высшим художественно-техническим институтом (ВХУТЕИН). Этот факультет он окончил в 1927 году, и хотя среди преподавателей, у которых он учился, были такие видные живописцы, как К.С.Петров-Водкин и А.А.Рылов, следов их влияния в творчестве самого А.Л.Каплана обнаружить практически невозможно.

Мы до обидного мало знаем о том, чем занимался А.Л.Каплан в первые десять лет после окончания Академии художеств. В 1995 году в Русском музее прошла его большая персональная выставка, но из 429 представленных на ней работ ни одна не была создана ранее 1937 года. В первой посвященной творчеству А.Л.Каплана книге, текст к которой был написан Борисом Давидовичем Сурисом (она увидела свет в 1972 году), воспроизведены всего шесть рисунков, созданных художником за этот период. Фундаментальный альбом, полностью основанный на коллекции Исаака Яковлевича и Людмилы Михайловны Кушнир, выпущенный Русским музеем в 2007 году, включает репродукции 24 графических работ - и даже учитывая, что ни одна из них не идентична воспроизведенным в первой книге, совершенно очевидно, что тридцать рисунков - лишь очень небольшая часть из того, что было создано художником за десять лет. Нам не известна ни одна картина, созданная А.Л.Капланом (напомним, выпускником именно живописного факультета Академии художеств!) за это десятилетие.

В апреле 1928 года началось переселение евреев в Биробиджан; спустя два года был официально учрежден Еврейский национальный район, который постановлением ВЦИКа от 7 мая 1934 года получил статус Еврейской автономной области. В 1938 году ленинградский Музей этнографии решил обзавестись литографическими композициями, посвященными реализации Биробиджанского проекта. Мы не знаем, кем, как и почему именно тогда в Музее было принято это решение, как не знаем и того, почему заказ на выполнение этой работы был передан именно А.Л.Каплану, а не, допустим, Соломону Юдовину (1892-1954) - художнику существенно более известному и опытному, с 1910 года жившего в городе на Неве, а в 1920 году выпустившего альбом "Еврейский народный орнамент" из 26 линогравюр, а с 1923 года бывшего ученым секретарем и хранителем закрытого спустя пять лет Музея Еврейского историко-этнографического общества.

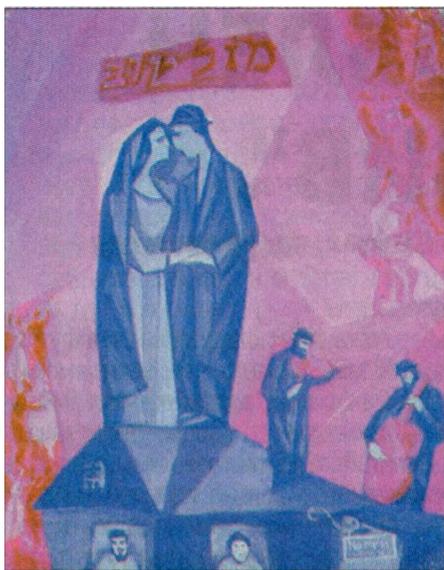


Возможно, дело было в том, что А.Л.Каплан иллюстрировал две книги Дова-Бера Левина (1904-1941) на еврейские темы: "Улица сапожников" (о пути в революцию сына ремесленника) и "Вольные штаты Славичи" (о 33-часовом периоде власти банды анархистов в еврейском местечке) - обе они были опубликованы в 1932 году. Как бы там ни было, для А.Л.Каплана этот заказ имел исключительное значение, в значительной мере определив всю его последующую жизнь. С этого момента - и навсегда - еврейская тема доминировала в его творчестве, а печатная графика стала основной сферой, в которой он работал. Как указывал видный искусствовед М.Ю.Герман (1933-2018), до этого "Каплан литографией никогда не занимался, все надо было начинать с азов"...

А.Л.Каплан тогда не только открыл для себя эту технику - в экспериментальной литографской мастерской Ленинградского отделения Союза художников произошло его знакомство с Георгием Семеновичем Верейским (1886-1962). Незаурядный график, человек исключительной образованности, с 1921 по 1930 год заведовавший отделом гравюр в Эрмитаже, Г.С.Верейский не только оказал несомненное влияние на А.Л.Каплана, который был его на шестнадцать лет моложе, но и на многие годы стал его другом - а в 1958 году даже выполнил его литографический портрет. С 1937 года А.Л.Каплан начал работать на камне, находя технику литографии наиболее отвечающей его пластическим замыслам.

Во многих публикациях о художнике - в частности, в книге Б.Д.Суриса (стр. 12-13) и в опубликованной Русским музеем статье Инессы Липович (стр. 8) - упоминается "заказ Музея этнографии на несколько сюжетных композиций, посвященных Биробиджану, которые должны были быть исполнены в технике литографии". Надо отметить, однако, что ни в одном из альбомов художника не воспроизведена ни одна такая работа. На выставке в Русском

музее в 1995 году экспонировались две литографии, созданные художником в 1930-е годы, но ни одну из них нельзя отнести к "Биробиджанскому циклу". Напомним, что в 1939-1941 годах в Государственном музее этнографии (ГМЭ) в Ленинграде была развернута экспозиция "Евреи в царской России и в СССР"; для реализации этого проекта в ГМЭ была специально создана еврейская секция, которой с 1937 года руководил Исай Менделевич Пульнер (1900-1942). В июне 1941 года экспозиция была разобрана, а еврейская секция ликвидирована, и с тех пор и вплоть до конца 1980-х годов материалы еврейских коллекций в ГМЭ не экспонировались. Тщательно изучивший эту экспозицию исследователь Александр Иванов в своей обстоятельной статье, опубликованной в 2010 году в № 102 альманаха "Новое литературное обозрение", упоминает в своем обзоре ее биробиджанского раздела монументальные живописные панно художника Г.Н.Траугота, макет "Освоение тайги" работы художника А.П.Налетова, показывавший суровый быт первых еврейских переселенцев, макет "Колхоз им. Кирова" работы художника А.И.Паршина, но имя А.Л.Каплана в его обзоре не упоминается вообще. В 1937 году Музей этнографии направил экспедицию в Биробиджан, но данных о том, входил ли в нее А.Л.Каплан, в нашем распоряжении нет. Известно о том, что в конце 1920-х - первой половине 1930-х годов А.Л.Каплан неоднократно посещал родные места в Белоруссии, известно о его поездках в Кишинев и в Черновцы в 1940 году, но сведений о посещении им Еврейской автономной области в литературе о художнике нет. Нам неизвестно, сделал ли А.Л.Каплан какие-либо литографии, посвященные биробиджанскому проекту, однако то, что он создал сотни бесподобных графических листов, навеянных его собственными воспоминаниями и литературными произведениями ведущих идишских писателей, не подлежит никакому сомнению.



Анатолий Каплан. Обручение, 1977 (холст, темпера, 65x50 см)

Началось все с Шолом-Алейхема и вымышленного им городка Касриловка; именно такое название А.Л.Каплан дал серии литографий, созданных им в 1937-1940 годах. Эта серия стала началом пути, продолжавшегося более сорока лет, на протяжении которых А.Л.Каплан создал иллюстрации к "Тевье-молочнику", "Ножки", "Песни песней", "Стемпеню" и другим произведениям Шолом-Алейхема, "Фишке хромому" Менделе Мойхер-Сфорима, рассказам Ицхока-Лейбуша Переца, еврейским народным сказкам и песням, и даже к вокальному циклу "Из еврейской народной поэзии", созданному Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем спустя полгода после гибели Соломона Михоэлса, в августе - октябре 1948 года. А.Л.Каплан узнал об этом сочинении существенно позже, ибо его первое исполнение - оно прошло в Малом зале Ленинградской филармонии - состоялось только в январе 1955 года; свой одноименный цикл художник создал в 1962-1963 годах темперой и гуашью, а в 1975 году вернулся к нему, но уже в другой технике - керамического рельефа.

На многих своих работах А.Л.Каплан запечатлел виды еврейских местечек, белорусского Рогачева, откуда сам был родом; этот небольшой город был почти полностью уничтожен нацистами, погибли почти все его жители, в том числе и родители художника. Сам же он встретил войну в Ленинграде, откуда был эвакуирован на Северный Урал. "Промышленные пейзажи военной поры, виды отходящего от блокады Ленинграда становятся не только документами времени, но и напоминанием о традиции "Мира искусства". Многие в 1940-е хотели бы о ней забыть, но художественная память сильнее запретов цензуры", - справедливо отмечал в статье об А.Л.Каплане Алексей Мокроусов.

Военные и первые послевоенные годы отмечены литографическими сериями как об уральской эвакуации, так и об израненном блокадой Ленинграде. "На Урале, в городе Чусовой Пермской области, Каплан писал акварели, передающие ощущение мороза, безлюдья, безнадежности и пустоты. В листах о Ленинграде из лирического

графика художник вдруг превращается в наделенного мощной энергией неоклассика, наследника "Мира искусства". В "Портике Таврического дворца", "Александровской колонне" и "Ограде на Мойке" отчетливо слышны мотивы ранних работ Анны Остроумовой-Лебедевой и Мстислава Добужинского", - указывала историк искусства Евгения Гершкович.

В 1950-1960-е гг. расцвел и получил признание талант А.Л.Каплана как иллюстратора еврейской литературы. В 1947 году он сделал серию иллюстраций к "Человеку в футляре" А.П.Чехова, а в 1951 году - к "Слепому музыканту" В.Г.Короленко, но в последующие четверть века, до тех пор пока он увлекся созданием скульптурных циклов к "Мертвым душам" и "Ревизору" Н.В.Гоголя, работал почти исключительно с произведениями авторов, писавших на языке идиш. В своей, пожалуй, самой знаменитой серии - к "Заколдованному портному" Шолом-Алейхема - А.Л.Каплан окаямлял изображения композициями, напоминавшими еврейские надгробные стелы XVIII-XIX веков, или окна - орнаментальными узорами - кружевами, иногда отмеченными надписями на идише. Сюда же он вплетал изображения животных: оленя и единорога, льва и фантастического левиафана. Как очень чутко заметил Б.Д.Суриц, "Декор, разработанный в духе еврейского орнамента, служит здесь не просто украшением, он не только повышает выразительность формы и сообщает ей "национальный колорит". В том сложном взаимодействии, какое существует между эстампами Каплана и их литературным первоисточником, этим народно-декоративным элементам отведена роль самостоятельная и немаловажная: по мысли художника они должны служить неким эквивалентом той национально-фольклорной стихии, которая пронизывает все творчество Шолом-Алейхема".

В годы хрущевской оттепели А.Л.Каплан обрел весьма своеобразный статус: он стал - причем едва ли не единственным - визуализированным и демонстрируемым европейцам и американцам свидетельством существования в СССР еврейской художественной культуры. Его работы экспонировались на выставках к 100-летию Шолом-Алейхема в Нью-Йорке (1959) и в Париже (1960), в Германии в конце 1960-х годов были изданы три книги Шолом-Алейхема и И.Л.Переца с его иллюстрациями, а после того, как стараниями впервые побывавшего в СССР в 1960 году (в качестве приглашенного гостя Ленинградского отделения Союза художников) Эрика Эсторика (1913-1993) в 1961 году персональная выставка А.Л.Каплана прошла в Лондоне, его работы неоднократно экспонировались в Германии, Чехословакии, Италии, США - и в Израиле, где выставки его работ в 1961-1962 годах прошли и в Иерусалиме, и в Тель-Авиве. Не выпускающая художника за границу, даже на его

собственные выставки, власть отвела ему роль зримого символа лояльности к еврейской культуре в СССР. В своих воспоминаниях Александр Щедринский свидетельствовал (стр. 8-9), что и инициатива работы Б.Д.Сурица над книгой о А.Л.Каплане тоже принадлежала Эрику Эсторнику, и хотя имя этого американско-британского историка, галериста и коллекционера в самой выпущенной (совершенно восхитительно, кстати, с полиграфической точки зрения) книге даже не упоминается, ее подписание в печать в СССР в год столетия со дня рождения Ленина и издание десяти тысячным тиражом было событием беспримерным.

С Лениным, к слову, в творчестве А.Л.Каплана связана трагикомическая история: "Огромное керамическое блюдо, на котором было изображено застолье, и над всем этим застольем висела лампадка... Для того чтобы подать такое блюдо на выставку, приуроченную к юбилею вождя Октябрьской революции, Анатолий Львович замазал лампадку, и вместо нее там появился профиль Владимира Ильича Ленина", - рассказывает Людмила Михайловна Кушнир. Для ее мужа творчество А.Л.Каплана имеет поистине судьбинное, глубоко личное значение:

"Я родился в молдавском местечке, прожил там восемнадцать лет. Это все обо мне, это все о моем местечке, моих родственниках, моих земляках. Коллекционированием работ Каплана я занят уже тридцать лет. Когда-то в букинистических магазинах можно было купить отдельные работы мастера: офорты, литографии, рисунки; иногда попадалась и керамика. Весь круг моего общения из числа художников, коллекционеров, искусствоведов и галеристов был озабочен поиском Каплана для моей коллекции. Возможности были достаточно ограничены, но кое-какое небольшое собрание у меня было сформировано.

Чудо произошло в конце 1990-х годов, когда казалось, что весь Каплан уехал в Европу, за океан и на Землю Обетованную. Через художника Леона Гиршевича Нисенбаума (1925-2000) и искусствоведа Давида Ноевича Гобермана (1912-2003) я был представлен племяннику Анатолия Львовича, как потом выяснилось, владельцу творческого наследия Каплана. Моя неподдельная любовь, желание посвятить свою жизнь популяризации творческого наследия А.Л.Каплана были настолько убедительными и искренними, что в моей коллекции появилась достаточно внушительная часть наследия мастера. До меня очень многое сделали для популяризации имени Каплана друзья его семьи - Лия Моисеевна Штротт и Александр Щедринский, а также немецкие друзья художника. Началась кропотливая работа по систематизации и описанию творческого наследия и личного архива художника. На этом этапе неоценимую помощь оказал мне директор Центра "Петербургская иудейка" Валерий Дымщиц - потрясающий

подвижник и умница, знаток еврейской истории и культуры. Общение с ним очень помогло мне в более глубоком, основательном проникновении в творчество Каплана. К 100-летию со дня рождения художника мы совместно сделали первую выставку А.Л.Каплана из моего собрания".

Большая ретроспективная выставка произведений А.Л.Каплана из собрания Исаака и Людмилы Кушнир прошла в 2007 году в Русском музее в залах Инженерного замка; в течение более двух месяцев выставку посетили более четырех тысяч человек. В следующем году по приглашению Ирины Александровны Антоновой, легендарного директора Музея изобразительных искусств им. Пушкина, выставка Анатолия Каплана переехала в российскую столицу. Через год в Литературном музее прошла еще одна выставка, где были представлены иллюстрации А.Л.Каплана к произведениям Шолом-Алейхема. В мае 2011 года в залах Петербургской Академии художеств прошла большая выставка литографий художника, посвященных городу на Неве, которая позднее экспонировалась в Государственном Эрмитаже. В конце 2012 - начале 2013 года выставка графики Анатолия Каплана прошла в Новой Третьяковке. Несколько сот листов с работами А.Л.Каплана подарены И.Я.Кушниром Музею изобразительных искусств им. Пушкина, Русскому музею, Государственной Третьяковской галерее, Музею Марка Шагала в Витебске и Еврейскому музею и центру толерантности в Москве.

В 2011 году выставка работ А.Л.Каплана прошла в Витебске; она носила название "Я родом из Рогачева..." и явилась первым шагом к возвращению его искусства на родину, в Белоруссию. Осенью 2012 года эта же выставка прошла в Гомеле, где прошли и Международные Каплановские чтения. В июле 2017 года в минском Музее истории белорусской литературы открылась выставка "Страна местечек Анатолия Каплана". Можно лишь горько сожалеть о том, что сам А.Л.Каплан не видел ни одной своей персональной выставки: за границу его не выпускали, а в Советском Союзе их никогда не устраивали...

А.Л.Каплану повезло, как мало кому из художников; посмертно он обрел в И.Я.Кушнире защитника, подвижника, пропагандиста и мецената, о котором не мог и мечтать. В этом, собственно говоря, и состоит сила настоящего искусства, которое способно очаровать, захватить - и не отпустить уже никогда... Исаак Яковлевич и Людмила Михайловна живут в том самом доме на Петроградской стороне, где когда-то жил Д.Д.Шостакович, иллюстрациям к еврейскому циклу которого А.Л.Каплан посвятил несколько лет своей жизни. И.Я.Кушнир нашел себя в искусстве А.Л.Каплана - и стал дарить его тысячам и тысячам зрителей в разных городах и странах, чтобы и мы могли пройти тот же путь, который прошел он сам.

"ЯКОВ ШАБТАЙ БЫЛ ВЛЮБЛЕН В СВОЙ ГОРОД - ТЕЛЬ-АВИВ".

Для появления настоящей публикации есть сразу два веских повода: во-первых, в марте исполняется 85 лет со дня рождения Якова Шабтая, а, во-вторых, весной нынешнего года 110 лет с момента своего основания будет отмечать Тель-Авив - город, который Шабтай так любил.

Яков Шабтай (1934-1981) - писатель, чье имя в литературных кругах Израиля окружает почти легендарная атмосфера. Литературоведы практически единодушно признают его виднейшим мастером среди писателей своего поколения. Многие видели в нем даже "великую надежду ивритской литературы". Оставив после своей преждевременной смерти (у него с молодости было больное сердце) совсем немного произведений, Шабтай занял особое место в современной литературе на иврите.

В конце 70-х годов XX века в израильской прозе окончательно обозначился отход от принципов реалистично-психологической школы, доминировавшей до этого времени. Поворотным пунктом этого процесса можно считать появление в 1977 году первого романа Шабтая "Зихрон дварим" (по тексту произведения можно перевести как "Памятка", "Протокол" и как "Память вещей"). Это многоплановое произведение, главный конфликт которого строится вокруг отношений между экзистенциальной действительностью жизни израильской молодежи 60-х годов XX века и реальностью, которая составляла суть жизни поколения их родителей - польских евреев, приехавших в Палестину еще в 30-е годы.

Действие разворачивается в Тель-Авиве - городе, который был создан отцами, но к судьбе которого причастны и дети. Умело пользуясь разнообразными литературными приемами, важнейшими из которых для Шабтая являются языковые (внешне это выражается в виде длинных, порой лишенных знаков препинания групп предложений), автор как бы снимает покров за покровом в поисках глубинных причин и мотивов как в макрокосмосе романа, так и в его фокальных точках - жизни персонажей, у каждого из которых где-то в глубине есть надлом, шрам, оставленный эмиграцией. В романе показано влияние этой морально-психологической травмы на поколение детей, фактически - на весь социально-духовный облик последующего поколения израильтян.

Роман производит впечатление совершенно оригинального произведения, созданного без особого пietetа к образцам, израильским или мировым. Книга отличается явно модернистским духом, во многом близким к манере Пруста, Джойса и Фолкнера. Хотя в ивритском названии книги "Зихрон дварим" нет слова "непрерывное", оно незримо присутствует на каждой из ее 275 страниц, ибо все вместе они представляют собой по сути одну-единственную непрерывную повествовательную фразу. Не случайно вышедший позднее на английском языке на Западе, этот роман стал весьма известным именно под названием "Past Continious" ("Прошедшее продолженное"). Западные литературоведы также оценили книгу весьма высоко. Так, видный американский специалист проф. Роберт Альтер писал: "Память вещей" - подлинный поворотный пункт, обозначивший окончательное повзросление израильской литературы, и далее: "С книгой Шабтая израильская литература впервые по-настоящему вышла на авансцену послевоенной прозы".

Сегодня нас интересует важный аспект романа - Тель-Авив и отношение к нему Шабтая, явно считавшего город одним из главных персонажей. В этой связи мы публикуем перевод воспоминаний Эдны Шабтай о значении и месте Тель-Авива в жизни самого прозаика. И еще: уверен, что тель-авивцам "золотого возраста" будет приятно прочитать о наверняка памятных им популярных местах Тель-Авива середины 70-х годов, которые быстротечная жизнь "города без перерыва" уже унесла в его прошлое

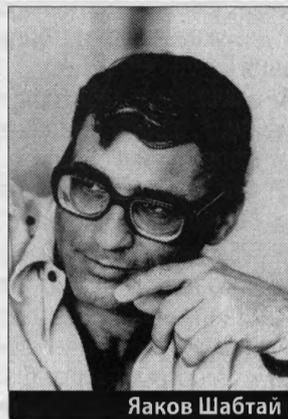
Шабтай ТЕЛЬ-АВИВСКИЙ

"Словно клещами вдруг сдавливает меня тоска..."
Эдна Шабтай

Почти всегда, когда я выхожу на тель-авивские улицы, он идет со мной. В марте - месяце его дня рождения - он со мной во всем, к чему бы я ни обратилась. Как в то весеннее утро, когда я шла от пересечения улиц Жаботинского и Дизенгофа к Банку "А-Поалим", расположенному у площади (Цины Дизенгоф. - А.К.).

Идя по восточной стороне улицы Дизенгофа, немного дальше кондитерской "Угати", что напротив улицы ШИРа (Шломо Ехуда Рапэпорт, 1790-1867, с 1847 г. - главный раввин Праги, известный еврейский философ и литератор. - А.К.), в которой сидят утренние

посетители, пьют кофе и наслаждаются знаменитыми сдобными пирожками, выпекаемыми здесь (и я когда-то покупала и приносила домой эти пирожки), я быстро прохожу мимо тучного человека, стоящего неподалеку от угла улицы Йодэфет. Перед ним страница с нотами, и он играет на скрипке. Это больше похоже на скрип, чем на музыку, и так отличается от игры струнного квартета, который в последние годы располагается на тротуаре у входа в пассаж "Ход" на улице Дизенгофа, дом 101, и из вечера в вечер к удовольствию прохожих наполняет всю улицу праздничным чарующим звуком Моцарта и Гайдна. Однако именно этот скрипящий звук останавливает меня в потоке пешеходов и возвращает назад к меланхоличному скрипачу, уставившемуся в нотный лист, что перед его глазами. В этот момент я вспоминаю, что сердце Янкеле всегда согревалось при



Яков Шабтай

Эдна Шабтай, вдова писателя

виде уличных музыкантов.

"Спасибо вам", - говорю я и кладу монетку в футляр от скрипки, а на экране памяти, что перед моими глазами, вижу, как Яков идет рядом со мной по западной стороне Дизенгофа от улицы Фришмана к улице Гордона, мимо "Равеля", который тогда все еще был кафе, останавливается, ищет в кармане монетку. Я слышу его чуть смущенный, извиняющийся голос: "Именно вот такие, кто не умеет хорошо играть, кто пикирует, больше всего и согревают мне сердце". Словно клещами вдруг сдавливает меня тоска, когда я вспоминаю этот голос, в котором было столько оттенков, голос живой и теплый, обладавший богатым диапазоном настроений и чувств.

Я как раз прохожу перед пассажем на улице Йодэфет, в этом месте в середине 70-х годов размещался чудесный книжный магазин под названием "Лирик", в котором можно было посидеть, выпить кофе, шоколада или чаю за счет заведения и просто почитать. Мы заходили туда вдвоем взглянуть на книги, а иногда договаривались встретиться там и пойти погулять вечером, когда я обычно возвращалась из университета, а он выходил в перерыве между своей работой.

Одним летним вечером 1981 года - каникулы были в полном разгаре, и я со спокойной душой могла позволить себе с наслаждением устроиться на деревянных ступенях и погрузиться в чтение, кажется, это был недавно вышедший в свет сборник любовной поэзии Иегуды Амихая, - я вдруг услышала сзади голос девушки, очень молодой и бодрый голос, говоривший кому-то, кто был с ней: "Если хочешь настоящую книгу, книгу на все времена, то купи "Протокол" Якова Шабтая".

Это было удивительно. "Протокол" к тому времени уже удостоился нескольких глубоких критических статей, признания писателей и литераторов, а также премии Ассоциации книгоиздателей за 1978 год, однако по-настоящему публика откроет роман для себя лишь после неожиданной кончины человека, который написал его. А тому предложению - "Если хочешь настоящую книгу, книгу на все времена, то купи "Протокол" - Янкеле порадовался уже тем же вечером, когда я поспешила вернуться домой, чтобы рассказать ему об этом.

Он знал ценность книги, которую написал. В глубине души знал, что "это настоящая книга, книга на все времена", хотя никогда не высказал этого вслух. Даже когда Дан Мирон (профессор, крупный современный израильский литературовед, эссеист и редактор. Давний друг четы Шабтай. - А.К.), вернувшись из поездки в США весной 1978 года и лишь тогда прочтя книгу, опубликовал о ней большое эссе, в котором назвал роман "шумной неожиданностью", пришел к нам домой и целый вечер, не переставая, хвалил его, пока вдруг не умолк, помолчал и спросил, слегка пораженный: "Но скажи, как ты вообще написал такую книгу?!" - даже тогда Янкеле только смущенно улыбнулся.

В нем была неподдельная скромность. Скромность знающих. Как в стихотворении Авраама Бен Ицхака (Авраам Сона, 1883-1950, ивритский поэт, при жизни опубликовал лишь 12 стихотворений. Возлюбленный Леи Гольдберг, написавшей о нем мемуарную книгу "Встреча с поэтом". - А.К.) "Счастья сеющих не увидит".

Каждая прогулка по улице Дизенгоф снова и снова открывала мне перемены, происходящие в Тель-Авиве,

без которых в нем не бывает ни дня. И тем утром, направляясь к восточному окончанию этой улицы, немного не доходя до ее пересечения с улицей Фришмана, я увидела завершение дней старого магазина игрушек "Иегуда", большая витрина которого всегда притягивала взгляд обилием медвежат, кукол, пестрых коробок с играми и прочих игрушек, радовавших сердце. Это был центр притяжения для детей, проходивших здесь, да и не только для детей.

В наши редкие приезды в Тель-Авив в конце 50-х и начале 60-х годов (в 1955-1967 годах Эдна и Яков Шабтай жили и работали в кибуце Мерхавия. - А.К.) мы покупали в этом магазине подарки Хамуталь, нашей старшей дочери. Отсюда, когда ей исполнилось шесть или семь лет, мы привезли ей на день рождения набор "Юный ученый" с баночками и пробирками, о котором она мечтала с тех пор, как увидела его, навещая в тот год на Песах бабушку и дедушку, живших на улице Фруга. Возможно, это был первый толчок, который с годами привел к тому, что она стала изучать медицину. Сюда я приезжала, чтобы купить подарки Орли, нашей младшей дочери, когда мы уже жили на улице Лурии (Йосеф Лурия, 1871-1937, - педагог, публицист и редактор. Приехал в Палестину в 1907 г. и преподавал в гимназии "Герцлия". Был председателем Союза учителей и заведующим отделом образования Всемирной сионистской организации. - А.К.), дом 1, недалеко от площади (Цины Дизенгоф. - А.К.). Сюда же я снова приезжала в последние годы, чтобы купить подарки внуку.

Несколько недель назад, когда я проходила здесь и увидела табличку "Мы закрываемся", я зашла и купила маленькой Авигаиль большого медведя, который одиноко сидел на уже пустой полке.

"Мы закроем магазин еще до конца марта, - сказала мне хозяйка, жена Иегуды. - Мы вынуждены. Уже нет никаких сил".

А в то утро в конце марта, о котором я рассказываю, из витрины на меня смотрела только пустота, темная пустота. Пуста большая витрина, пустые полки. Улица лишилась еще одного магазина, который некогда был маленьким миром, полным жизни, - исчезло еще одно памятное место.

На обратном пути домой, а теперь я живу на севере Тель-Авива, я иду по его улице, улице Фруга (на улице Фруга, 15 - в доме его родителей, Яков Шабтай жил в юности. Этот дом также описан в обоих романах прозаика - "Протокол" и "Эпилог". - А.К.). Если бы Янкеле действительно смог вдруг быть здесь, рядом со мной, он бы узнал ее. Здесь произошли лишь небольшие изменения, по крайней мере, что касается "домов для рабочих" (один из кварталов жилых домов, которые Гистадрут строил для своих членов. - А.К.), стоящих от угла улицы Фришмана до прохода на улицу Мапу. Однако на отрезке, расположенном ближе к улице Гордона (часть, которую он обычно называл "дома Габимы"), с оглушительным шумом реставрируют дом номер 34 - трехэтажное здание постройки тридцатых годов в стиле баухаус. Надпись на большом щите гласит: "В охраняемом здании продается пентхаус 16 кв. м. + лоджия. Трехкомнатные квартиры, особый пентхаус с окнами во двор".

Я спрашиваю себя, хотел бы он жить здесь, вспоминая его голос, исполненный грусти, в последнем интервью по радио, которое он дал незадолго до смерти: "По улице моих родителей, по этой улице я не хожу", - и отвечаю себе, что, если бы он был здесь, то возможно, очень возможно, что - да, ходил бы.

Послесловие

Благодаря появившемуся в 2003 г. на русском языке второму роману Я.Шабтая "Эпилог", читатели могут убедиться в том, какое действительно значительное место в творчестве этого одаренного прозаика занимал

Тель-Авив. На иврите книга была издана в 1984 г. - через три года после преждевременной кончины автора. Роман увидел свет благодаря большой редакторской работе Э.Шабтай и Д.Мирона, которые из 1100 страниц незавершенной рукописи подготовили целостное произведение, одно из сильнейших в ивритской прозе 70-80-х годов XX века. Смерть Шабтая вызвала чувство горечи у всех, кто ожидал от этого талантливого художника новых ярких книг.

Шабтай любил город, в котором родился, прожил немало лет в юности, до службы в армии, и в который вернулся в 1967 г. уже с семьей и прожил последние 14 лет своей жизни. Он умер от сердечного приступа ночью 4 августа 1981 г. в маленькой квартире на последнем этаже дома номер 1 по улице Ицхака Лурия в центральной части Тель-Авива.

И вот в конце 90-х годов прошлого века в средствах массовой информации в Израиле началась кампания за присвоение имени этого крупного писателя, драматурга и переводчика одной из тель-авивских улиц. Возник естественный вопрос - почему 17 лет спустя после кончины Шабтая вдруг заговорили о необходимости увековечивания его имени в Тель-Авиве?

Причин, на мой взгляд, было несколько. Во-первых, отмечалось двадцатилетие со времени выхода в свет первого, так удивившего читающую публику романа Шабтая "Протокол". До этого - в 1994 г. книга была в очередной раз переиздана и снова тепло встречена критикой и читающей публикой. Во-вторых, в конце 1995 г. был издан двухтомник драматургических произведений этого автора под названием "Пьесы: Корона на голове и другие", также привлечший к себе внимание. В-третьих, в 1996 г. в Израиле был снят, а в 1998 г. показан и по телевидению художественный фильм "Вещи" по роману "Протокол". Режиссером и автором сценария был известный израильский кинематографист Амос Гитай, сегодня сверкающий на международных кинофестивалях своими фильмами. Популярности фильма содействовали и известные актеры, снявшиеся в нем: Аси Даян (к сожалению, умерший в 2018 году, сын Моше Даяна), Лея Кениг, Рики Галь и сам Амос Гитай. Наконец, театр "Гешер" в самом конце 1998 г. подготовил премьеру спектакля по пьесе Шабтая "Трапеза" (на иврите "Охлим", то есть "Едящие") с участием нескольких своих ведущих актеров - Леонида Каневского, Евгении Додиной, Владимира Халемского, Евгения Гамбурга. В спектакле звучат также стихи Я.Шабтая. Отметим, что впервые эта пьеса была поставлена еще в 1979 г. в иерусалимском театре "Хен". Таким образом, в конце 90-х годов в культурно-художественной жизни израильского общества наблюдался своего рода ренессанс интереса к творчеству Якова Шабтая и его личности.

Инициатором идеи присвоения имени Шабтая тель-авивской улице был режиссер Дорон Цабари. Идею подхватила вдова писателя Эдна Шабтай: "Тель-Авив обязан называть улицы именами творцов, которые делают город заметным на карте литературы и культуры, и Яков Шабтай, без сомнения, сделал это". Далее Э.Шабтай предложила, чтобы имя ее покойного мужа присвоили... улице им. Шимона (Семена) Фруга, ведь он-де жил в России и писал не на иврите, а на русском и идише... Зато на этой улице в доме 15, доме родителей Шабтая, будущий известный израильский писатель провел детство и юность.

В этой связи обратим внимание на слова самого Шабтая из вышеприведенного мемуарного очерка: "По улице моих родителей, по этой улице я не хожу". Эдна Шабтай не объясняет эту явно звучащую странно фразу мужа о, казалось бы, любимой улице, на которой прошли детство и юность. У нас есть гипотеза для объяснения этой ситуации.

Отец Шабтая был строительным рабочим (не случайно семья Шабтай получила квартиру в "квартале рабочих", построенном Гистадрутом на ул. Фруга), человеком с сильно выраженным классовым

пролетарским сознанием. Между старшим Шабтаем и сыном существовали сложные взаимоотношения - "узы любви вперемешку с горечью и гневом", как вспоминал последний. А вот свою мать Машу Я.Шабтай очень любил и глубоко переживал ее смерть. Когда умер и отец, в силу жизненной необходимости Шабтай был вынужден продать (с согласия своего младшего брата Аарона, ныне известного поэта и переводчика с греческого языка) квартиру родителей на улице Фруга. Вот с этого момента, по нашему мнению, и могло измениться отношение писателя к этой тель-авивской улице. На это указывают и другие косвенные, но значимые факты. "Когда он (Я. Шабтай. - А.К.) был вынужден продать квартиру... - вспоминает близкий друг писателя Барке Харпаз (в 90-е годы прошлого века - административный директор тель-авивской Синемаатеки. - А.К.), - он почти заболел от этого. Янкеле не мог простить себе..."

Так или иначе, но предложение о переименовании было передано на рассмотрение в комиссию по увековечиванию имен и наименованию улиц при муниципалитете Тель-Авива. Как это принято, тогдашний мэр города Рони Мило (зять покойного Менахема Бегина) представил эту идею на заседании упомянутой комиссии и по истечении положенных десяти дней, при отсутствии возражений у членов комиссии, предложение должно было быть утверждено.

Научно-творческая общественность сопротивлялась. Появились отдельные недоуменные статьи вроде "Шабтай вместо Фруга?" ("Едиот ахронот", 30.10.1998), а также пошли протестующие письма в газеты. Так, известный профессор-литературовед Нурит Говрин справедливо писала: "Новый писатель, каким бы значимым он ни был, не отменяет важности творчества своих предшественников... Я приветствую решение назвать улицу именем Шабтая, но ни в коем случае не вместо Фруга или кого-либо другого".

Э.Шабтай не сдавалась: "Улица Фруга заслуживает называться именем Шабтая, поскольку явно тяготеет к его прозе и особенно - к двум его большим творениям о Тель-Авиве - романам "Протокол" и "Эпилог". ...А имя Фруга можно перенести на другую улицу" ("Едиот ахронот", 27.11.1998).

Принятие решения неожиданно затянулось - в результате прошедших в Израиле всеобщих выборов в конце 1998 года произошла и смена мэра Тель-Авива: вместо Рони Мило ("Ликуд") муниципалитет возглавил Рон Хульдаи ("Авода"). Понятно, что у нового городского головы и его команды в первые месяцы были дела и поважнее, чем увековечивание имен писателей и других деятелей культуры.

Так или иначе, но почти год спустя после начала дискуссии - в июле 1999 года состоялось присвоение имени Якова Шабтая новой улице на самом северо-востоке Тель-Авива в микрорайоне "А-Миштала" ("Питомник"). У известного литератора там достойные соседи: улица его имени соседствует с улицами имени Макса Брода, поэта-авангардиста Давида Авидана, лауреата Госпремии Израиля композитора-песенника Саши Аргова (дружившего с Шабтаем и написавшего на его стихи ставшую известной песню "Улицы Тель-Авива") и видного детского писателя Левина Кипниса. В итоге и Э.Шабтай довольна: "Я думаю, Янкеле Шабтай может чувствовать себя здесь спокойно, поэтому согласилась".

А мне все же немного грустно: недавно я поехал на самый север Тель-Авива и побродил по неприметному, более чем скромному пешеходному переулку ровно в 200 метров длиной... В своем городе, ставшем одним из героев его рассказов и романов, незаурядный прозаик мог бы удостоиться чего-то большего.

Кажется, что немой упрекам городским властям является и тот факт, что число переизданий романа Шабтая "Эпилог" приближается к двадцати...

Предисловие, перевод, послесловие и примечания - Александра Крюкова

КАК В ОДЕССЕ ПОЯВИЛАСЬ ЕВРЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА



Здание "Хекдеша"



Фото врачей Еврейской больницы, 1898 г.



Еврейская больница

Святослав ЛИННИКОВ

Согласно переписи населения 1795 года, среди первых жителей преобладали евреи - 240 человек. При этом числилось 224 грека, 213 украинцев, 106 русских, остальных было еще меньше. Еврейская же больница появилась немногим позже. Как все начиналось и что мы имеем сегодня, рассказывает врач и куратор проекта "Медицина разборчивым почерком".

С первых лет своего существования еврейская община Одессы начала активно создавать учреждения, необходимые для полноценной жизни. Первыми появились общество посещения больных "Бикурим холим" и еврейское похоронное братство. И, кстати, не последнюю роль в открытии сыграл Осип Пастернак, прадед будущего Нобелевского лауреата Бориса Пастернака.

Общество "Бикурим холим" расширило свою деятельность, что привело к созданию уже в 1802 году первой еврейской общинной лечебницы, но всего на шесть коек. В эти же годы открывается "Хекдеш" - сочетание приюта для бедных и дома престарелых. Его скромное одноэтажное здание до сих пор можно увидеть по адресу Старопортофранковская, 4. "Хекдеш" был рассчитан на 60 человек, которым бесплатно обеспечивался полный пансион.

Естественно, такая активная деятельность требовала значительных денежных затрат. Для финансирования была придумана очень интересная схема. Община создала неприкосновенный капитал,

банковские проценты от которого позволяли оплачивать деятельность учреждения. Сумма капитала формировалась за счет коробочного сбора (налог на кошерные мясные продукты) и дохода от продажи лекарств. В еврейскую общину поступали и большие пожертвования. Кроме того, меценатам разрешалось организовывать собственные постоянно действующие больничные койки и даже палаты, которые они могли назвать своим именем или именем родственника. Для этого необходимо было сделать одноразовое пожертвование в неприкосновенный фонд, которое приносило бы процентный доход не меньше 120 рублей в год. Таким образом, гарантировалось функционирование именной палаты на многие годы вперед без дополнительных затрат.

В 1829 году Еврейская община покупает новое небольшое угловое здание на Молдаванке. Оно до сих пор существует на углу улиц Мясоедовской и Богдана Хмельницкого. Но места снова не хватает, и в 1864 году открывается больничный корпус, который сегодня функционирует как главный. В новом просторном здании больницы обустроивают пять больших палат: три для "обычных болезней", в которых находились пациенты как терапевтического, так и хирургического профиля, а две - для венерических болезней. Одновременно палаты могли вместить 75 пациентов. Таким образом, в год в больнице лечилось около 500 пациентов.

В 1900 году вновь развернулось масштабное строительство новых корпусов. За короткий срок появились ЛОР, нейрохирургическое, детское, приемное

отделения, хирургический павильон, административный корпус, прокуратура и хозяйственный корпус. Больничные корпуса были построены на средства еврейского кагала. Управлялась больница двумя попечителями, которые избирались кагалом на три года и утверждались генерал-губернатором. Но зарплату они не получали, а наоборот, тратили собственные деньги на обновление больницы. Например, один из попечителей больницы Соломон Пуриц в 1908 году закупил рентген-аппарат и технологию изготовления рентгеновских пленок, благодаря чему Еврейская больница стала одной из первых в мире, где начали использовать этот метод исследования.

Больница оказывала медицинскую помощь евреям из общины и одесситам других национальностей, а при наличии свободных мест обслуживала иногородних пациентов. Плата за лечение в больнице взималась только с иногородних по 3,5 рубля одновременно при поступлении в больницу. Члены общины от такой платы совсем освобождались. Пациенты в больнице находились на полном содержании, которое включало питание, лекарства, больничную одежду и белье.

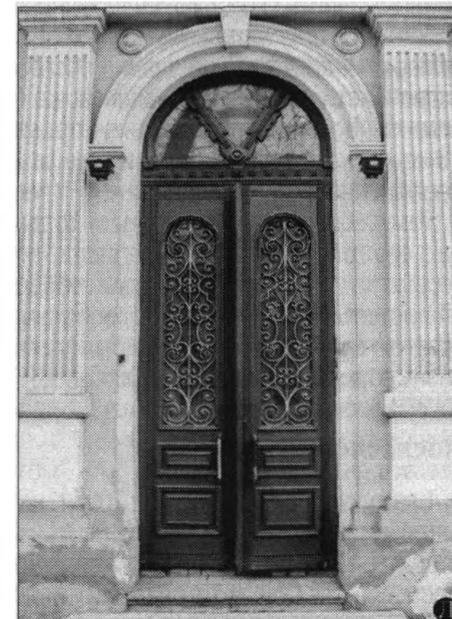
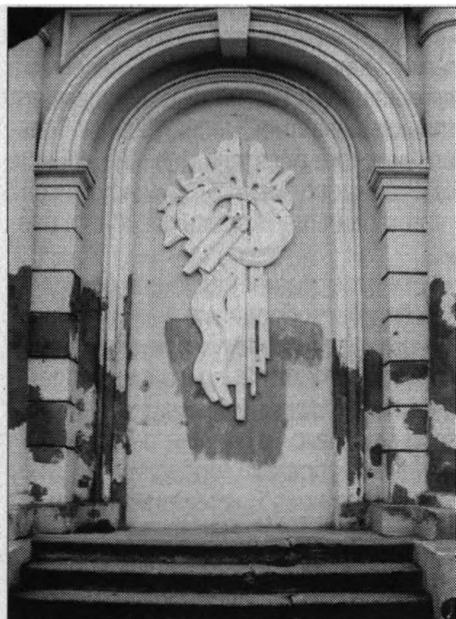
Жизнь больницы было тесно связана со всеми перипетиями еврейской общины Одессы. Когда город потряс погром 1905 года, огромный двор Еврейской превратился в палаточный лагерь для множества семей, чьи квартиры были уничтожены погромщиками (тогда около 50 тысяч человек лишились крова и были выброшены на улицу). Пострадавшие получили здесь бесплатную медицинскую помощь и питание за счет средств

фонда, специально сформированного общиной.

После прихода Советов еврейское население города испытало несколько волн гонений. Не лучшие времена наступили и для Еврейской больницы. Неприкосновенный капитал еврейского кагала был национализирован - больница лишилась источников финансирования. Со временем и сама больница была национализирована и переименована в "советскую народную больницу". С переименованием пришла и реконструкция. Основная цель - увеличение коечного фонда - была реализована довольно неумело. Больничные корпуса были спешно перестроены, под палаты были переоборудованы помещения, для этого не предназначенные, да и разместили в них гораздо большее количество коек, чем это было запланировано. Вместе с национализацией упало и качество помощи. Многие врачи эмигрировали, а больница обрела недобрую славу.

Сейчас Еврейская официально носит прозаическое название "Городская клиническая больница № 1". И город в ней нуждается, как никогда до этого. Ее ждет масштабный ремонт и первое полноценное переоборудование с момента строительства. Здания обещают отреставрировать, планируют закупить новое современное оборудование и дать больнице вторую жизнь. Чтобы сегодня легендарная больница смогла вернуть себе доброе имя и продолжила оказывать помощь одесситам.

"Лоция"



ИЗ ГЛУБИНЫ

Илья РЕЙДЕРМАН

Илья Рейдерман - "русскоязычный поэт", живущий в Одессе. Первая книга его стихов "Миг" вышла в 1975 г. в Кишиневе, а затем было множество тощих брошюр, издаваемых за собственный счет в провинции у моря. Стихи публиковались и в Киеве, и в Москве, и в Израиле, в журналах "22" и "Артикль", автор причастен к израильской русскоязычной литературе еще и тем, что сохранил для нее роман Эфраима Бауха "Птица над волной".

В год своего восьмидесятилетия Илья Рейдерман издал итоговую книгу "Из глубины. Избранное" (СПБ, "Алетейя", 2017). Из нее в основном мы и отобрали стихи для подборки. У этой книги странная судьба - без ведома автора она попала в интернет, ее можно найти в свободном доступе в электронной библиотеке Флибуста, у нее есть читатели и нет отклика поэтов и критиков в толстых российских журналах. Может быть, виной тому необъявленная война Украины с Россией? Или то, что автор, как ни крути, "классик" и не вписывается в современный мэйнстрим? Вынырнув из глубины - его поэзия снова уходит в глубину, и кажется, что сбывается давнее пророчество поэта: "Как трудно в переходной жить эпохе! Она перешагнет через меня".

Чаша неба

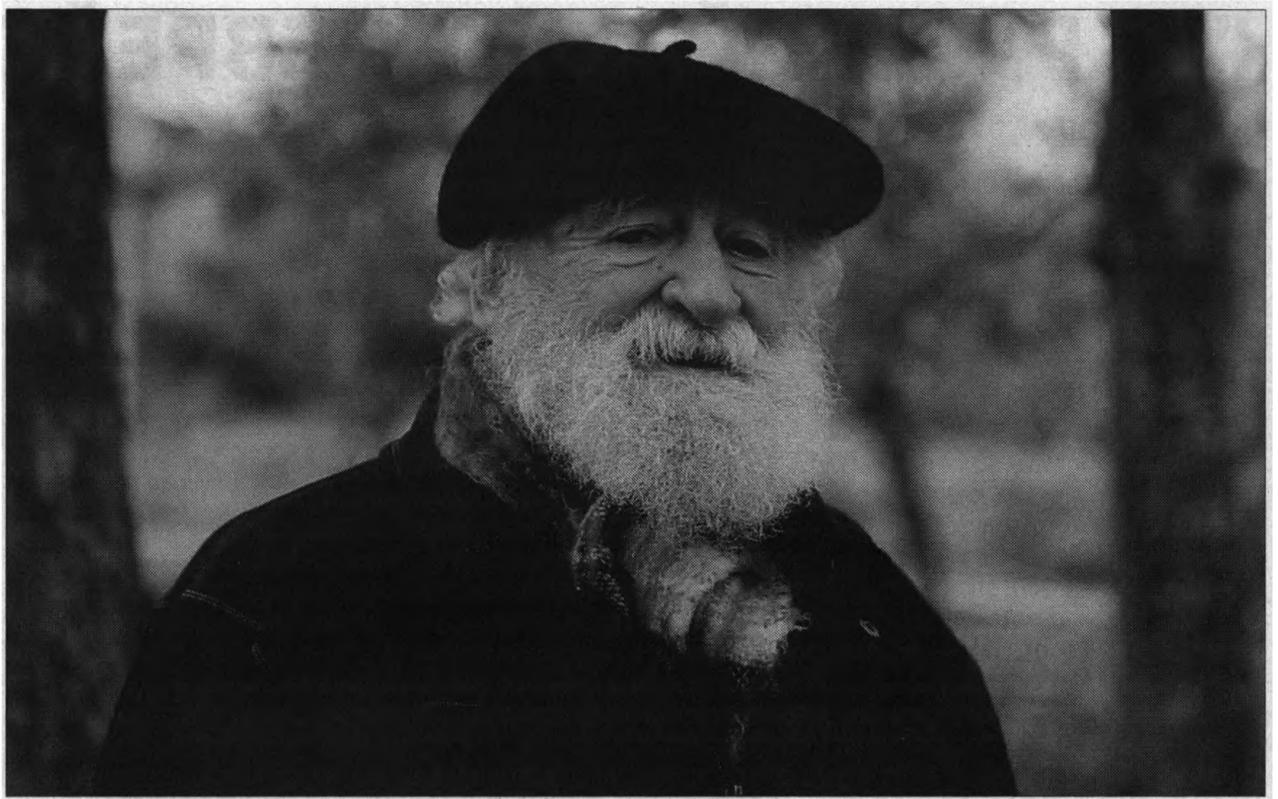
Осипу Мандельштаму

Время пишет и время стирает
на доске золотые слова.
А украденный воздух - играет,
попирая земные права.
Ведь свобода, конечно же, - кража.
Украдешь - очевидна вина.
Но, горька ли судьбы твоей чаша, -
пей ее - непременно до дна.
Каждым нервом растянут на дыбе,
чуя жизни блаженную дрожь,
чашу неба во здравие выпей, -
ты бессмертен, хотя и умрешь.

"Всё перепуталось, и некому сказать..."
О.Мандельштам

Всё перепуталось - и некому услышать
того, что мог, хотел и должен был сказать.
Ну а перо еще зачем-то пишет,
пытаясь смыслы зыбкие связать
хотя бы нитью крепкою, суровой,
и завязать на память узелок,
с бессмыслицей не соглашаясь новой,
крупницы смыслов запасая впрок.
Распутывай. Своди концы с концами,
И сам, выпутываясь из пут,
ищи на ощупь истину. Руками
держи, покуда жив. Потом найдут.

Кто-то скачет на коне.
Кто-то за конём - бежит.
Жизнь уходит, а на дне
строчка грустная лежит.
По дороге молодцом
кто-то скачет - пыль в глаза.
С запрокинутым лицом
кто-то смотрит в небеса.
Кто-то скачет - конь горяч!



...Не ловить бы мне удач.
Просто - жить под небесами.
Хочешь - смейся. Хочешь - плачь.

Сон

И каждому был дан свой час.
Свой трезвый час среди дня иль ночи.
И странно открывались очи,
и свет, и тьму сосредоточив
в себе. И мир был без прикрас.
Всё - словно в первый день творенья,
без глянца. Разворот работ.
И совесть строгий счёт ведёт
приметам едим запустенья.
Счёт недоделок и пустот.
Как бы вращались жернова
из очень твёрдого металла,
и оправданий не хватало,
и обращались в прах слова,
и суть от формы отлетала.
Всё было неприкрыто, голо,
всё беспощадно, как во сне.
Ты всё, душа, перемолола?
И правда грубого помола -
лишь горсть одна - на самом дне...

И, наконец, увидеть этот сад,
усыпанный, как снегом, лепестками.
Мы с ним одни. Наощупь, наугад
идет неслышный разговор меж нами.
Прожилки листьев, полдень и лазурь,
и белизна цветов, и зелень, зелень...
Прими меня к себе и образумь,
и опусти, как лепесток, на землю.
И не от мудрости - от простоты
своей - пойму высокое молчанье.
И сгусток тишины возьму, а ты
махни легонько веткой на прощанье...

Ах время, мы и впрямь, как дети
спешим накрыть его сачком,
поймать рукой, запутать в сети.
Спешим - и падаем ничком.
И вот, когда мы, обессилев,

лежим - над нами небеса,
травинка - зеленью на синем,
жучков беспечных голоса.
И жизнь мгновенная природы,
бессмертия кратчайший миг
объемлет нас. И мир велик,
заполнен временем, как соты.
И мы мгновенья собираем,
преображаем, раздаём.
А что на свете оставляем?
Себя. Во времени своём.

Воспоминания - не дом, а дым.
Ещё клубятся - но живёшь иным.
И в сторону уносит по кривой
разъятый прах минуты неживой.
Но горький воздух - камня тяжелей, -
летит, недвижим, сквозь движенье дней.
Среди машин, забот, бегущих толп -
лоб расшибёшь об этот дымный столп.
И вдруг поймёшь: прочнее, чем гранит,
ушедшее. На том - душа стоит.

Я помню, что улыбка, будто птица,
внезапно отделялась от лица,
взлетала - и не ведала границы
меж мной и миром, длилась без конца.
Мы узнавали: есть всему причины.
Нас обучал небескорыстный быт.
И спит улыбка в глубине морщины.
Как в коконе - бескрылая - лежит.
Но тайно верим мы в свои начала.
И подступают молча времена.
И требуют, чтоб птица вылетала
из каждого лица, как из окна.

За каждой мыслью - голоса других.
За каждым словом - ожиданье слова
и созидают глубину живого
все те, кого и нет среди живых.
И жизнь, которая сегодня есть,
не нас одних вела и обнимала.
Так много жизни, что нельзя и счесть!
А мы твердим, её не зная: мало.

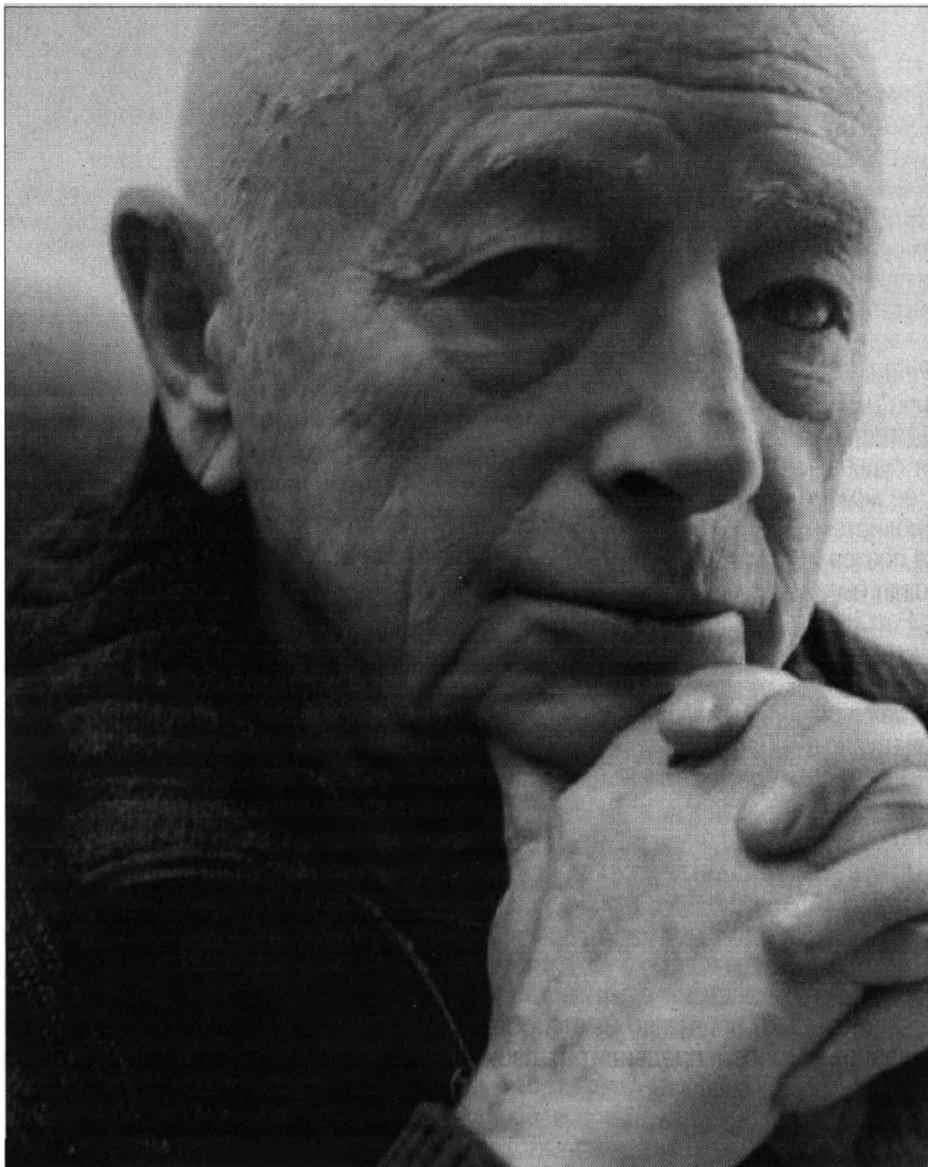
"Я - РУССКИЙ ПОЭТ С ЕВРЕЙСКОЙ КРОВЬЮ"

Лилия БЕЛЬСКАЯ

Эти слова о себе могли сказать многие русские поэты, начиная с Надсона. Но далеко не у всех из них эта кровь проявлялась в их творчестве. Достаточно назвать Б.Пастернака, Д.Самойлова, Н.Коржавина, Ю.Левитанского, К.Ваншенкина. Однако с полным правом произнес эту фразу в одном своем интервью Александр Моисеевич Городницкий. Больше 60 лет он выступал и как физик, и как лирик - геолог, ученый-океанолог, написавший свыше 250 научных работ, и поэт и бард, сочинивший более 900 стихов и песен. На вопрос, как он сумел совместить науку и поэзию, отвечал: "и поэзия, и наука - формы активного познания окружающего мира". А когда его спрашивали, хотел ли бы он что-то изменить или добавить в своей жизни, ответ был категорический: "Нет!", ибо жизнь А.М. прожил такую насыщенную, интересную, разнообразную, хотя и трудную, о чем рассказал в своих мемуарах "И вблизи, и вдали" (1991).

Родившись в 1933 году в Ленинграде, в 8 лет мальчик оказался блокадником и дистрофиком, а попав в эвакуацию в Омск, впервые узнал, что он еврей: его дразнили "жидом", как воробьев-воришек. Впоследствии он вспомнит об этом случае в стихотворении "Воробей": "Представитель пернатых жидов... / Чирикая, пляшет "семь-сорок" / На асфальте чужих городов". Вернувшись в Ленинград и окончив школу с медалью, Алик мечтал поступить на истфак в ЛГУ, но понимал, что с его "пятой графой" это нереально - шел 1951 год. И тогда юноша выбрал романтическую профессию - геофизику и пошел в Горный институт, куда отличников принимали без экзаменов. В геологических экспедициях он объездил весь Крайний Север, обошел и тундру, и тайгу и там начал придумывать песенки. Некоторые ранние песни становились популярными и превращались в народные ("Перекаты", "На материк", "Снег"). Одна из них - "Атланты" стала неофициальным гимном Ленинграда - Санкт-Петербурга, а другая закрыла ему выезд за границу якобы за интимную связь с "женой французского посла", которую советские моряки видели издали на морском параде в Сенегале. Пройдет много лет, и сенегальский посол в Москве вручит А.М. подарок за первую песню (в мире) об этой стране.

Своими поэтическими учителями Городницкий считал Б.Слуцкого и Д.Самойлова, читал им свои стихи, выслушивал их замечания. Однажды Слуцкий предложил начинающему стихотворцу сменить фамилию, - мол, слишком длинная и еврейская. Но Александр отказался. Его родовая фамилия происходила от названия местечка Городницы в Польше. А отец и мать были родом из Могилева в Белорусии: "Здесь лежит моя бабушка



Лея / И убитые сестры ее", а над ямой, где зарыты тысячи недострелянных, полуживых евреев, нет ни столба, ни камня. Лишь случайность спасла Алика и его родителей от этой ямы: не хватило денег на поездку летом 41-го года в Могилев. И город уже никогда не будет еврейским "в этой Богом забытой стране".

К теме Холокоста А.М. обращался неоднократно. Посетив в середине 60-х годов Освенцим и Трешлинку, поэт не только оплакивал дымом развеянный "мой бедный народ": "Не выигран бой: / Я камень, я камень / Над их головой" ("Трешлинка"). А описывая экскурсию москвичей в Освенциме, думал о том, что такие музеи надо открывать во многих местах, в том числе в степях Казахстана ("По Освенциму ветер гуляет"). Горькая ирония звучит в стихотворении "Освенцим". Почему нет еврейских могил в гетто и концлагерях? Потому что евреи "по небу серым облачком веют": оказавшись всех мудрей и хитрей, "ближе к Богу пролезли в дымовую трубу".

Предчувствовали ли европейские евреи в начале 30-х годов надвигающуюся Катастрофу? Лишь немногие: "Из Германии едут евреи..." ("Вспоминая Фейхтвангера"). Большинство же были убеждены, что "процветали извечно евреи под защитой разумной державы",

что они не могут жить без "немецкой земли" - это их "милая родина". И на таких, как Фейхтвангер, друзья и знакомые смотрели с удивлением, пожимая плечами.

А как жилось инородцам в России в разные времена? Хан Темир, зодчий Карл Росси, декабрист, повешенный за "немецкую шею", художник Левитан: "Кто вы были меж славян? / Кто вы, пасынки России? / Неродные имена, / Что и кровь свою и силы / Отдавали ей сполна?" ("Пасынки России"). Вряд ли была она для них "милой родиной"! Но особенно тяжело и худо было на "российских негостеприимных просторах" евреям. В "Последнем летописце", посвященном памяти Натана Эйдельмана, говорится о "звериной злости и ненависти" к нему "черносотенного стана" за то, что, "славу презрев и почет", он служил обществу безвозмездно и завещал нам свою тайну: "Что жить здесь, увы, невозможно, / Но можно лишь здесь умереть". Даже полукровкам порой бывает здесь несладко, сочувствуя им, автор замечает, что две половинки в них - "неизменные враги". Любопытно, что эту враждебность высмеял в "Жалобе полукровки" Э.Рязанов: "Во мне живут семит с антисемитом, / Которых я не в силах помирить". У Городницкого же концовка скорее драматическая - "Если кровь твоя прольется, / Где какая не понять".

С другой стороны, он уверен: "самые ярые антисемиты - полукровки (от Фета до Жириновского)". И выдвигает довольно спорную версию, что отец Сталина был евреем, так как Джуга - по-грузински "еврей", а окончание -швили (в отличие от -дзе и -ва) давалось инородцам. Да и сапожник в Грузии - традиционно еврейская профессия. И к еще более спорной идее, высказанной израильским филологом И.Серманом, присоединяется А.М., что дед Пушкина был не только эфиопом, но и дальним потомком царицы Савской, которая побывала какое-то время в гостях у царя Соломона: "Мне будет сниться странный сон - / Пустыня сумрачного вида / И шестикрылый Серафим, / Слетевший со щита Давида". Даже если это так, что весьма сомнительно, то генетика не помешала великому поэту презирать "жидов", что, кстати, было свойственно многим русским писателям.

Особенно часто об истоках антисемитизма размышлял он в 90-е годы. Такая, видно, участь евреев - "висеть на кресте и гореть на высоких кострах" и внушать соседям "неприязнь и мистический страх". И нашим внукам уготована судьба дедов и прадедов. Пора собирать в дорогу пожитки, но смешны наши попытки перехитрить свой жребий ("Евреи", 1991).

Когда-то Б.Слуцкий иронически признавался в любви к антисемитам, которые дают ему "бесплатные уроки", указывают на его пороки, учат, как и сколько жить ("Люблю антисемитов..."). Прошли десятилетия, и его ученик с сарказмом провозгласил: "Да здравствуют антисемиты!" ("Ода антисемитам", 1997) и поблагодарил ассирийцев и римлян, разрушавших наши храмы и угонявших нас в полон, украинских котов, рубивших топором детей, русского императора, поощрявшего убийства, Эйхмана, травившего нас газом; не забыты "погромы, угрозы, теракты" и ядерный реактор.

Свой творческий путь А.Городницкий начинал как бард, один из основоположников авторской песни, наряду с Б.Окуджавой, Ю.Визбором, А.Галичем, В.Высоцким (см. главу "Поющие шестидесятые" в его мемуарной книге "И вблизи, и вдали"). Но с 80-х годов А.М. все чаще стал сочинять не песни, а стихи, отмечая, что бардовская песня "утратила свою протестную энергию". А так как сейчас идет "удушение всего живого", то ее главной задачей является "борьба с чудовищной бездуховностью".

Тематически поэзия Городницкого чрезвычайно многообразна. Трудно перечислить, о чем он только ни писал: Древняя Греция и Рим, разные города и страны ("Я обошел все континенты света"), моря и океаны (вплоть до поисков Атлантиды, которую как будто нашла его экспедиция). И все же в центре внимания барда и стихотворца

всегда была Россия: ее история - от Киевской Руси до сегодняшнего дня; ее география - от Царского Села до мыса Дежнева; ее культура - от "Слова о полку Игореве" до живописи Жутковского и прозы Фазиля Искандера. Недаром он не мог смириться с тем, что его считали чужим на этой земле и называли русскоязычным поэтом. Он же признавал ее родной, а себя - русским поэтом и отказался участвовать в сборнике "Русскоязычные поэты России".

*И все-таки с детства люблю я,
хоть плачь,
Проселки и серое небо над ними.
И эту любовь у меня не отнимет
Ни ярый погромщик, ни Бог, ни палач.
"Меня приучали,
что здесь я чужой...", 1990*

Наверное, больше всего песен и стихов посвящены русской поэзии и ее авторам, жившим в пушкинскую эпоху, и в серебряный век, и в советский период; немало и эпитафий "Памяти" Ахматовой, Слуцкому, Самойлову, Высоцкому, Окуджаве). "Российской поэзии век золотой" был знаменит великими смертями, серебряный - "расстрельными пулями" и "лагерными пайками", а теперь наступает бронзовый век. "Каких от него ожидаем потерь?" Спросите у Музы, и "молча в тоске отвернется она, лицо закрывая руками" (1995).

У поэта болит сердце за сегодняшнее состояние России, за ее политику ("Не думал, что доживу до позорной войны с Украиной"), за ее науку, потерпевшую катастрофу по вине бездарного правительства. А "гибель науки - это гибель интеллигенции", для которой духовные ценности были всегда превыше всего.

Когда началась Большая алия (а сын уже несколько лет жил в Израиле), и стали уезжать близкие и друзья, и "чернорубашечная рать" угрожала погромами, и тебя убеждали, что в России погибнешь и надо спасать детей, А.М. отвечал, что не сможет жить в "безмолвии чужого языка, который мне родным уже не станет", и не сможет расстаться с землей, где он не одинок, "где есть кого любить и ненавидеть" ("Мне говорят, что надо уезжать...", 1990). Отказавшись покинуть Россию, Городницкий не исключает трагического финала - гражданской войны и своей гибели: "Я убит в России при погроме / На исходе ядерного века", "Бить жидов - старинная потеха, - / Лучшая из дедовских традиций". При этом он винит себя, что родился здесь и не уехал отсюда. "Мир тебе, земля-детубийца", политая кровью, и я "навечно кровью с нею связан" (1990).

Судя по количеству произведений, написанных Городницким в начале 90-х годов об эмиграции, раздумий и сомнений было немало. Он даже попробовал учить иврит: "Шабат-шолом, тогда раба, слиха", - твержу слова", и кажется не заучиваю, а просто вспоминаю ("Урок иврита"). Стараются забыть о себе и думать только о детях, готов назвать

алию своей ("Алия ты моя, алия!") и слышит, как "ветер воли" шепчет ему: "труден лишь первый шаг". Неужели и он сможет отправиться путем алии? ("Алия"). Но в итоге поэт описывает не свой отъезд, а путь в Тель-Авив грузинских, узбекских, латвийских евреев, надеясь, что очистятся их "замшелые души" и они привыкнут к чуждым обычаям ("Эмигранты"). Наблюдает он и за унижительной процедурой досмотра, когда на таможене раздевают отъезжающих догола, как некогда в газовых камерах, - "только язык забирают с собой, который не нужен", и жизнь предстоит начать с нуля ("Эмиграция"). Так и не совершив алии, А.М. тем не менее постоянно приезжает в Израиль, навещает сына и трех внуков, выступает с концертами, издает тут свои книги и все глубже погружается в израильское прошлое и знакомится с настоящим.

*И стою я под Стеною Плача
В позднем покаянии жестоком,
Возвращаясь так или иначе
К ранее неведомым истокам.*

И прежде всего обращается поэт к истории исхода евреев из Египта. В "Монологе Моисея" повторяется рефрен: "Сорок лет вожу народ я по пустыне, / Чтобы вымерли родившиеся в рабстве". Бывшие рабы не способны жить "при равенстве и братстве", и поэтому они не дойдут до Земли обетованной. Моисей предвидит и свой скорый конец, но должен завершить порученное ему дело. В стихотворении "Исход" автор сравнивает свою судьбу с судьбами предков, которых Бог привел на предназначенную им Родину. Но зачем она сегодня манит его в свой "допотопный век"? Ведь человек не может вернуться к забытой колыбели, "как дерево, посаженное в землю, уже не может вытащить корней".

Вторая историческая тема, заинтересовавшая Городницкого, - разрушение Содомы. В "Стихах о Содоме" он представляет себя жителем обреченного города, и никто, кроме него, не знает, что произойдет завтра. Позднее он скитается по Синаю, гонимый Богом, и среди соляных столбов не может опознать жену. Подчас автор сливается с героем и переселяется в наше время, утверждая, что из Содомы убежать нельзя: "Видимо, придется нам, дружок, / Разделить судьбу его сограждан". А однажды ночью ему почудилось, что его дом сотрясает "небо Ветхого Завета с черным атомным грибом".

Аналогичную переключку разных времен и сходство общих и личных переживаний находим в "Плаче Иеремии" и в "Диаспоре" (1996). В первом пророк исповедуется перед Господом, обвиняя себя и свой народ за позорный плен в Вавилоне: мы - "ассирийские ассимилянты", зарыли свои таланты, поем чужие песни, спим с рабынями, забыв иудейских жен, не вспоминаем могилы праотцев и бесследно растворимся в водах Тибра и Евфрата. Та же тема плена на чужбине звучит и в "Диаспоре",

но от лица человека XX века: "Ты мне навеки в мачехи дана - / Другой отчизны не было и нет". Но в отличие от пророка он не осуждает себя. Правда, вслед за предками твердит - "В будущем году в Иерусалиме", однако мало верит в это, потому что мы - "пленники диаспоры" и, наверное, ближе всех народов к Богу, "а Богу, говорят, не нужен дом".

Объехав весь Израиль, Городницкий составил его стихо-географическую карту - от вершины Хермона до пустыни Негев: "В мировой океан отправляется остров Израиль, / Покидая навек азиатскую микроплиту". И как когда-то Капитан Моисей вводил народ от фараонова войска, от "судьбы своей горькой - к неведомой жизни иной", так теперь "загорится маяк на скале неприступной Масады, в океане времен созывая плывущих домой" ("Остров Израиль", 1993).

Побывав в Иерусалиме, А.М. убедился, что этот город, возникший "велеением Божиим" пять тысяч лет назад, не похож на другие города: расположен у подножия храма, которого нет; "уничтожен, и проклят, и снова воспет", пережил и Ветхий и Новый Завет и воплотил современную модель мира. Он "начало и цель трех религий", и его не могут поделить иудеи, христиане и мусульмане ("Иерусалим"). Мертвое море с его "горько-соленой, как горе", водой, над которой не летают птицы и в которой не плавают рыбы, напоминает поэту о многих человеческих трагедиях - от Содомы и Гоморры до Хиросимы и Нагасаки. Опустив ладони в море, он загадывает: "Может, не струшу перед бедою, / Вылечив душу мертвой водой?" Невольно приходят на память русские сказки с их мертвой и живой водой ("Мертвое море"). А в Хайфе его поразили Бахайские сады и сказочный храм "новой веры Бахаи", где не молятся, а украшают землю, сажая деревья и цветы, и чтут и Христа, и Магомета, и Будду. И под тихое птичье пение ощущаешь "присутствие Бога" - "ибо Бог есть любовь" ("Бахайский храм"). А вот Европа, лишившись после Холокоста евреев и по-прежнему изгоняя их, утратила не только тех, на кого можно сваливать все свои несчастья, но и самого Христа: "И Христос, покинувший распятие, / В пыльную уходит Иудею" ("Эксodus").

Наблюдая в Израиле за своими сородичами не в рассеянии и диаспоре, а в скоплении и на собственной земле, Городницкий пытается понять и сформулировать их национальную сущность и определяет ее как "самодостаточность" (имея в виду лишь религиозных иудеев). Вначале она его "пугает" из-за их "немигающего и резкого" взгляда, из-за покорности "жестокосердному" Богу, превратившему их жизнь в ад и оставившему только одну реликвию - "основание стены". Потом "смушает" тем, что они соблюдают "беспощадные посты", носят традиционную одежду, веруют в "утраченные скрижали" и тысячелетия бродят по чужим землям. И наконец, эта самодостаточность "пленяет", так

как, несмотря на все преследования, евреи в своем убогом быту сдержали "ветхозаветные обеты" и продолжали "общение с Богом" среди враждебного окружения, почитая Главную Книгу, и когда читают ее, раскачиваются, как поэты, в такт словам ("Самодостаточность еврейства", 1992).

Размышляет А.М. и об особенностях еврейских могил: почему на могильные плиты кладут не цветы, а камни ("Много раз объясняли мне это...")? Понятно, что в аравийской пустыне на сорокалетнем пути не было цветов. Возможны и другие объяснения: души бессмертны, и камни вечны, а цветы увядают; или, снимая камень со своей души, передают его умершим; а может, это осколки погибшего храма или кусочки каменной Иудеи. Не зная точно причины этой традиции, поэт верен ей и на могилу своих родителей кладет камушки. И когда он сам ляжет рядом с ними, пусть и на его плиту принесут камушки: "Где родился когда-то и вновь, вероятно, усну я, / Чужеродную землю приняв за родную".

Приблизился и наступил новый, XXI век, и в позднем творчестве Городницкого, как и прежде, отчетливо слышны еврейские мотивы. То он именует себя "безвестным потомком" Моисея (как его сын, "зовусь Бен-Моше"), а имя матери, Рахиль, получила его внучка: "И глядят на меня в упор / Юной мамы моей глаза... / Мою внучку зовут Рахиль, / Моей внучке 12 лет" ("Подпирая щеку рукой..."). То сопоставляются взаимоотношения евреев с поляками и немцами. Напрасно евреи давали детям польские имена и пели польские песни, плодородный пепел Трелинки радовал поляков богатыми урожаями. А в Германии евреи спасались от инквизиции, считали ее доброй и свободной страной и немецкий диалект сделали своим языком, пока не были уничтожены по вине "крикливого безумца". Если евреи навсегда покинули антисемитскую Польшу ("Польские евреи"), то, быть может, утраченные связи между еврейским и немецким народами еще возможно восстановить ("Еврейям немцы более близки"). По моему, слабая надежда!

А.М. всегда сожалел, что не знает ни идиша, ни иврита. О первом он снял документальный фильм "В поисках идиша". А следы второго стремится отыскать в русском языке ("шмон", "кровим", "кремль", "колбаса"), который вбирает в себя слова разных языков и терпеливо учит нас "доверию, общению и братству" ("Язык", 2003). И ему жаль, что его "израильские внуки забудут русские слова".

В интервью с журналистами А.Городницкого не раз спрашивали, кем он себя больше ощущает - евреем или русским и слышали в ответ его стихотворение: "Родство по слову - порождает слово, / Родство по крови - порождает кровь". Таким образом, на первое место А.М. ставит язык и культуру, а на второе - биологию и генетику: "Я - русский поэт с еврейской кровью".

ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ КАТАСТРОФЫ

*"Я последний поэт Катастрофы.
Уничтожить пытались меня!
И в ночи, и средь белого дня
Кровью сердца пишу эти строфы.
Я последний поэт эпопеи...
Ты не можешь весь ужас понять,
Не носивший позора печать,
Не расстрелянный
в братской траншее.
Я последний поэт Катастрофы,
Мне страдать до скончания дней,
Я воскресла из пепла. И строфы
Нашим внукам расскажут о ней!"*

Со дня рождения автора этих правдивых, болью в сердце отзывающихся строк, Тамары Лазерсон-Ростовской исполнилось 90 лет. Увы, ее уже нет с нами, но ее история и творческое наследие воспринимаются с особой актуальностью в канун приближения отмечаемого ежегодно в Израиле в 27 день месяца нисан, в память о легендарном восстании в Варшавском гетто. А Тамаре выпала судьба стать узницей гетто Каунасского, где она вела дневник, к счастью, сохранившийся и изданный потом на нескольких языках и продемонстрированный, в частности, на выставке в Вашингтонском музее Холокоста. Он также был включен в выпущенную в Москве издательством "Аргументы и факты" многостраничную "Детскую книгу войны".

В ту войну Тамара потеряла родителей и одного из братьев, да и сама была на грани смерти, но ей удалось бежать, и нашлись люди, которые, с риском для собственных жизней, дали еврейскому подростку укрытие и позаботились о девочке. После войны Тамара встретила сцелевшим вторым братом Виктором. Это он уложил дневниковые записи сестры в жестяную коробку и закопал возле одного из домов гетто, и сумел чудом отыскать ее среди сплошных развалин, оставшихся в памяти переживших Холокост. Страницы этой тетради, на которых юная Тамара фиксировала все происшедшее, стали важным свидетельством трагедии евреев Литвы. Достаточно сказать, что Каунасе, где проживала семья Тамары, немецкими оккупантами и местными их пособниками было уничтожено до 96 процентов еврейского населения. Дневник Тамары и записи, которые вел ее брат, составили основу еще одного исторически ценного издания, увидевшего свет под названием "Записки из Каунасского гетто".

Начав новую жизнь, Тамара получила среднее, а потом и высшее образование, вышла замуж за своего университетского однокурсника Михаила Ростовского и отправилась вместе с мужем по распределению на работу в город Йошкар-Ола. В 1971 году ее семья выехала на постоянное

жительство в Израиль. Новые репатрианты поселились в Хайфе. На исторической родине Тамара трудилась еще семнадцать лет и дождалась от двоих дочерей семерых внуков и двух правнуков.

С творчеством Тамары Лазерсон-Ростовской мне довелось познакомиться после того, как я с семьей репатриировался в Израиль в 1990 году, а с 1991-го начал работать в сети Израильского радиовещания на русском языке. Тамара не раз участвовала в моей авторской программе "ЛИРА", а в рубрике "Поэзия еврейской души" на радиостанции "РЭКа" периодически звучали ее стихи. Особое место в поэзии свидетельницы трагедии европейского еврейства занимала эта, ключевая для нее тема – поэтесса считала своим долгом рассказать всю правду о страшном прошлом, о том, что ей довелось пережить, волей судьбы. Рассказать для будущего, с тем, чтобы ужасы минувшего не вернулись вновь. Из жизни мужественная женщина ушла 6 августа 2015 года, оставив значительное литературное наследие, к которому необходимо приобщать молодежь. Новые поколения должны знать историю своего народа, на долю которого выпало много невыносимых бед. А еще стихи Тамары Лазерсон-Ростовской, вместе с ее дневником, – достойная отповедь тем, кто пытаются принизить масштабы Холокоста и даже ставят под сомнение сам его факт. Вот – слова, сказанные Тамарой в программе, переданной в эфир по 9-му каналу Израильского телевидения, слова, обращенные к нам с вами, и ко всем тем, кто придут нам на смену: "Берегите наше государство. Как зеницу ока берегите. Это наша жизнь. Наше будущее".

ИЗ ПОЭЗИИ ТАМАРЫ ЛАЗЕРСОН-РОСТОВСКОЙ

ДЕНЬ ПАМЯТИ

*Я родом не из детства — из Шоа,
Я выжила, подстреленная птица,
Израиленская детская душа -
До старости не в силах исцелиться.
Натянутые нервы, как струна,
Сирена бьет по ним истошным воем...
И каждый раз - опять моя семья,
Расстрелянная вражеским конвоем.
Но сердце согревает взгляд любви
Со старого, измятого портрета...
Запомни все, запомни... и живи -
Кричали камни на руинах гетто.*

ДЕТИ ГЕТТО

*Дети, рожденные в гетто,
Печальные дети войны,
Нарушив невольно запреты -
На свете вы быть не должны.*



*Нельзя вам дышать кислородом,
Нельзя в колыбели кричать -
Своим незаконным приходом
Под пули подставьте мать.*

*И мечутся матери, плачут,
И помощи просят врачей,
И прячут родимого, прячут
Средь всяких ненужных вещей.*

*Выносят в корзинах плетенных
Под тусклым лучом фонарей
Малюток, в неволе рожденных,
На милость чужих матерей...*

ВОСПОМИНАНИЕ О СОБРАТЬЯХ, УБИЕННЫХ В ЛИТОВСКИХ МЕСТЕЧКАХ

Посвящается безвинно убитым
во время Холокоста

*Еврейства горькие пилюли
Глотала с детства день за днем.
А смерть стояла в карауле
У дома. Прямо за углом.*

*И запах трупов, запах гари
Доселе жив в моих ноздрях.
И нас живых живьем сжигали,
Злорадно превращая в прах.*

*Как мусор всех валили в кучу,
И поджигали. И огонь
Взбирался бешено на кручу,
Стенали души Сар и Сонь.*

КРИК

Посвящается моему брату Рудике.
Его убили в 15 лет в 1941-ом в Литве.

*Ты для себя копал могилу.
Фашисты пьяные устали,
А ты, мальчишка, полон силы,
Но, Боже, руки как дрожали.*

*Копал ты долго, неумело
Ту землю, что любил когда-то,*

*И дрожь пронизывала тело,
И уходила вкось лопата.*

*О чем ты думал мальчик бедный...
Зловеще каркали вороны,
В обоим всунули патроны,
И колокольный звон к обеду -
В тот день воскресный. День последний.
Ты поседел, родной, в единый миг,
И закричал пронзительно и дико...
Сотряс мне душу
твой предсмертный крик,
Глухим был мир...
Он не услышал крика.*

*У каждого есть свое имя, -
Звучит из эфира упрямо,
Но стали они безымянны -
Отцы наши, дети и мамы,
Безвинно убитые в ямах.
И было им общее имя,
Что общей судьбе подлежит.
То имя извечно над ними
Звучало проклятием - жид!*

*Земля там доныне дрожит,
Из недр ее слышится стон.
И камень надгробный лежит
Простой, где ни дат, ни имен.*

ОСКОЛОК ОСВЕНЦИМА

*Отшумела давно Мировая,
Но в Освенциме пахнет золой.
Я вернулась из ада... Живая!
Избежала я участи злой.*

*При последней воздушной атаке
Меня ранил осколок слепой.
Я валялась в холодном бараке
И отважно боролась с бедой...*

*Уж полвека, как память ночами
Мою душу и колет, и жжет.
И осколок болезненным шрамом
В старом сердце упрямо живет.*

*Я зажгла поминальные свечи,
И внезапно привиделись мне
Крематория жуткие печи,
Где погибли родные в огне.
Я зажгла поминальные свечи,
Мне казалось - горела душа,
И молились евреи в тот вечер
Беспредельною скорбью дыша.
ИЕРУСАЛИМ (КО ДНЮ ГОРОДА)
На Морию ширится дорога
И сверкает, словно яркий снег.
Авраам ведет беседу с Богом
Будто с человеком - человек.
Древняя стена - ограда Храма,
Звезды золотом над ней горят.
Здесь потомки, дети Авраама
С Богом на иврите говорят.*

*В мире древних городов немного
Он древнейший и святой навек.
Человек с любовью внимлет Богу,
Если верит в Бога человек.*